

Терапевт

Автор:

[Хелене Флод](#)

Терапевт

Хелене Флод

Крафтовый детектив из Скандинавии. Только звезды

Сара – психотерапевт. Она помогает людям избавляться от страхов и навязчивых мыслей. Но кто поможет ей самой?... Утром Сара получила голосовое сообщение от своего мужа Сигурда, что он на даче у друзей. А вечером эти друзья позвонили узнать, почему Сигурд до сих пор не приехал... По мере того как час тянулся за часом, злость превращалась в страх. А когда исчезновением Сигурда наконец заинтересовалась полиция, начались неприятные вопросы. Например, почему Сара стерла то утреннее сообщение мужа? Теперь она сидит дома одна в своем личном кабинете и пытается принимать пациентов. Но не может. Потому что в голове у нее воеет буря. И она не в силах избавиться от ощущения, что за ней кто-то следит. Что бы ни случилось с мужем, думает Сара, она станет следующей...

Хелене Флод

Терапевт

Helene Flood

Terapeuten

© Helene Flood. First published by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, 2019.

© nakaridore / Shutterstock.com

© Bourbon-88 / Shutterstock.com

© Ливанова А.Н., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2020

Пятница, 6 марта: сообщение

Было еще темно, когда он ушел. Проснулась я оттого, что он наклонился и, поцеловав меня в лоб, прошептал:

- Я пошел.

Еще не совсем проснувшись, я повернулась к нему. Он был в теплой куртке. Через плечо большая сумка.

- Уходишь? - пробормотала я.

- Ты спи, спи, - сказал он.

Его шаги на лестнице я еще слышала, но заснула прежде, чем за ним захлопнулась входная дверь.

* * *

Просыпаюсь одна в постели. В щелку между рулонной шторой и подоконником просачивается бледный солнечный луч, светит мне прямо в глаз и будит меня. Времени половина восьмого. Уже можно и встать.

Я босиком плетусь умыться, стараясь не обращать внимания на застрявшие в напольном покрытии коридора щепки и мокрые деревянные поддоны на земляном полу в ванной. У нас там нет верхнего освещения, но Сигурд, когда сбивал кафель, подключил рабочую лампу. Она так и прописалась там – похоже, навечно. К счастью, сейчас достаточно светло, можно не включать ее. Она мощная, как и положено рабочим лампам, и дает резкий белый свет, под которым я чувствую себя открытой всем взглядам, как в душе школьной раздевалки. Пускаю воду, чтобы та согрелась, пока я раздеваюсь. Водогрейную колонку надо бы заменить – но Сигурд моется быстро, а я сегодня не собираюсь мыть волосы, так что сойдет.

Пластиковая душевая кабина. Она тоже мыслилась как временная. Сигурд спроектировал для нас душ: кабинка из кирпичной кладки, стеклянная дверца и мелкая белая плитка в голубую крапинку. Из всех не доведенных до ума помещений в доме ванная наиболее откровенно демонстрирует недоделки. Старая плитка отбита, новая не положена. Ни света, ни нормальной занавески. Ступаем по поддонам, чтобы не повредить пол; в стене дыра, из нее торчат водопроводные трубы. Временная кабина – допотопщина, доставшаяся нам от дедушки Сигурда. Какое-то время, глядя на этот недострой, я представляла дом таким, каким он станет: плитка в голубую крапинку, гладкая кладка стен, утопленные в потолке лампы; я чувствовала теплый изразцовый пол под ногами, горячую воду, которая под идеальным напором подается из современной душевой насадки с разными режимами. Теперь я вижу только, сколько времени займет довести все это до ума. Сунув ладонь под струю – определить, не нагрелась ли вода, – вдруг понимаю, что уже перестала верить в то, что дом когда-нибудь будет приведен в порядок.

Под горячим душем я окончательно просыпаюсь. У нас здесь холодно. В спальне еще ничего, а в ванной жуткий колотун. Зима выдалась долгой, и каждое утро я, голая, стою, переминаясь с ноги на ногу, и сую ладонь под струю воды. Теперь дело хотя бы идет к весне. Душ действует благотворно. Капли стучат по моей холодной, в пупырышках, коже; я набираю воды в ладони и, окунаясь в нее лицом, чувствую, как меня вытряхивает из ночи в день.

Пятница. Три пациента, моя обычная пятничная когорта. Сначала Вера, за ней Кристоффер, последним Трюгве. Глупо назначать прием Трюгве последним в пятницу, но каждую неделю, под конец его сеанса, я не могу удержаться от соблазна снова назначить то же время. Набираю новую порцию воды, окунаю в нее лицо и растираю щеки ладонями. Сигурд с приятелями собирается остаться

на Нурефьелле до воскресенья. На выходные я буду одна.

Одеваюсь в спальне: не вмоготу лишнюю секунду задерживаться в холодной ванной. На постели валяются наши сбившиеся одеяла. Густо пахнет сном – во всяком случае, моим, а может, и его тоже. Когда он уходил, на часы я не смотрела; возможно, прошло уже несколько часов. Одежного шкафа у нас нет, но Сигурд закрепил металлическую штангу между дымоходом и стеной; на ней развешаны платья, рубашки и пиджаки. Его вещи – как попало, мои – аккуратно рассортированы по цвету. Я смотрю на его одежду: непохоже, чтобы чего-то не доставало, но ведь он собирался ехать прямо в горы... Сумки на полу нет, и я вспоминаю, что она висела у него на плече, когда Сигурд уходил. Надеваю рубашку и брюки; одеваюсь нейтрально, прилично, и думаю, выбирая мягкую сизо-голубую рубашку, что всего лишь через несколько часов смогу снова подняться сюда, переодеться в спортивный костюм, если решу пойти в спортцентр, или надеть пижамные брюки и широкую футболку, если не пойду. Но сначала три пациента.

Три пациента – это, собственно, слишком мало. Мне нужно принимать каждый день по четыре, а еще лучше раз или два в неделю – по пять. Именно на это я рассчитывала, начиная практиковать частным образом. С частной практикой меньше бумажной работы, сказала я Сигурду, когда мы планировали наше будущее, сидя на кухне в нашей старой квартире возле Турсхов-парка и набрасывая семейный бюджет в экселевской таблице. Я прекрасно успею принять четырех пациентов в день, а то и пять. Почти каждый день по пять. Во всяком случае, раз в неделю. Лишние деньги нам не помешают. Мы засмеялись.

– Смотри не загоняй себя вусмерть, – сказал Сигурд.

– Кто бы говорил, – парировала я.

Он тоже тогда начал работать на себя и тоже делал расчеты в том же самом экселевском листе. По меньшей мере восемь клиентов одновременно, а лучше десять. Если надо, помогал партнерам, на счету каждый час.

– Придется задерживаться на работе, – говорили мы друг другу, – но нам это выгодно, пойдет в наш общий бюджет.

Теперь у меня почти всегда по три пациента в день и редко-редко пять. Почему так получилось? Найти пациентов оказалось труднее, чем я ожидала, и молодые часто отменяют визиты, но это только половина правды.

Я застегиваю последние пуговицы на вороте благообразной блузки-рубашки. Сидя в кухне на Турсхов и в свете старой настольной лампы Сигурда подсчитывая наши финансы на компьютере и бумажных листках, я забыла учесть одну важную вещь. Человеческий фактор. Даже мне, прекрасно чувствующей себя в собственном обществе, требуется общаться с другими людьми. Одним росчерком пера я отказала себе в коллегах, не догадываясь, какой одинокой себя почувствую. Какой апатичной стану. Рассказал бы мне кто-нибудь год назад, как меня будет тяготить необходимость рекламировать свои услуги с целью заполучить побольше пациентов, как это будет коробить меня, бы не поверила...

* * *

Для меня завтрак – самая приятная из трапез дня. Я сижу в нашем кухонном уголке с газетой, бутербродом и чашечкой кофе. Есть я предпочитаю в одиночестве. Сигурд всегда уходит рано и проглатывает свой кофе возле разделочного стола, даже не присев. Я люблю завтракать не торопясь. Почитать на страницах «Афтенпостен» полемику, отзывы о фильмах. Спланировать рабочий день.

Опять он оставил чашку. Вон она стоит на столешнице рядом с раковиной. Отделка кухни – немного из того, что в нашем доме почти доведено до ума. Поверхность столешницы такая гладкая, что даже со своего места мне видно кофейное полукружье под его чашкой. Ну конечно. Возможно, эта способность увидеть кофейную лужицу под чашкой, крошки под тостером, капли воды на поверхности стола обусловлена биологическими различиями между мужчиной и женщиной. Сигурд хочет иметь красивый дом, строит подробные планы, корпит над искусно выполненными чертежами и впечатляющими графическими презентациями, но его подводит невнимание к мелочам. Сущие мелочи – поставить чашку в посудомоечную машину, вытереть со стола, вечером убрать компьютер... Почему же я так раздражаюсь, почему позволяю себе брюзжать из-за такой ерунды? Но, с другой стороны, почему бы ему не уделить этому три секунды своего драгоценного времени?

На этом витке мысли я перевожу взгляд на крючок в стене, на котором обычно висит тубус Сигурда. В нем он носит на работу и с работы бумаги и чертежи; это такая серая трубка из твердого пластика, к концам которой крепится черная лямка. Когда тубус здесь, он всегда висит на этом крюке. Наморщив лоб, я смотрю на крюк. Сигурд же вроде собирался поехать прямо к Томасу, забрать их на дачу? Разве он не именно так сказал? И разве вчера вечером тубус не висел на стене?

Мне всегда было очень сложно реагировать на подобные нестыковки простым пожатием плеч. Вижу, как легко люди отпускают подобные вещи, и завидую этой легкости: не собирался на работу – ладно, может, я неправильно поняла. «Собираюсь прямо к Томасу», – сказал он; а может, я недослышала, может, он сначала собирался ненадолго заскочить на работу... Может, еще вчера оставил тубус на работе, а мне почему-то помнится, что он висел тут вчера, потому что он тут, собственно, и позавчера висел... Так было бы гораздо легче жить. Кажется, что люди не с такой хорошей памятью с меньшим подозрением воспринимают мир, меньше рыпаются. Взять, к примеру, все тот же разговор: я совершенно точно помню, как мы обсуждали это вчера, когда я поднялась с дивана в нашем временном уголке для отдыха и подошла к кухонной раковине, чтобы выплеснуть остатки чая, выкинуть в мусорное ведро использованный чайный пакетик и поставить чашку в посудомоечную машину; помню, что я обернулась – ну, может, в метре от кухонного уголка, где я сейчас сижу, – и спросила Сигурда: «Ну и когда вы едете завтра?» И сам Сигурд помнится мне так отчетливо, словно я вижу его изображение с невероятным разрешением в миллиарды мегапикселей, так, что все неровности на коже вырисовываются в мельчайших подробностях. Помню заношенный джемпер и дырявые штаны, которые он часто носит вечерами. Сигурд провел рукой по взлохмаченным кудряшкам, глянул на меня усталыми прищуренными глазами, будто я его разбудила, и сказал:

– Ээ... Я рано ухожу. Хочу быть у Томаса в половине седьмого.

А я спросила:

– В половине седьмого?

А он:

– Да. Тогда мы пораньше доберемся до места, и у нас будет целый день, чтобы кататься.

А потом он, наверное, забыл, что едет туда, и взял тубус с собой. Или, может быть, собирался поработать на даче... Или передумал и решил все-таки заехать на работу?

Моя память хранит слишком много подробностей. Я слишком явственно помню, как он выглядел, когда мы говорили об этом; что на нем был плохо сидящий бежевый джемпер с черным воротом, вроде тех, какие ему покупает мать. Да так оно и есть, это она его купила до того, как мы познакомились, заверил меня Сигурд, когда я отважилась сказать ему, насколько этот джемпер непристойно ужасен. Это совершенно несущественная подробность, зачем мне помнить ее? Как бы то ни было незачем помнить, что я ответила «хорошо» и отвернулась, а когда убрала чашку в машину и оглянулась на диван, он уже шурил глаза на экран стоящего на коленях компьютера – брови сдвинуты, рот приоткрыт, – и я справилась с позывом сказать ему, чтобы сел поближе к свету: «Испортишь глаза, и сними комп с колен, это вредит качеству семени, а может статься, что нам скоро понадобится, чтобы качество было на высоте; и не горбись, спина заболит». Я сказала только:

– Пойду лягу. Спокойной ночи.

Все это несущественно. Необходимо уметь отличать важное от всего прочего. Если запоминать все, труднее восстановить в памяти важное, то, что помнить нужно.

* * *

Из окна ванной мне видно, что по дорожке к гаражу, над которым устроен мой кабинет, идет первый на этот день пациент. При ходьбе Вера чуть склоняет голову вперед; благодаря этому ее легко узнать по походке, типичной для девушки-подростка, еще не вполне комфортно ощущающей себя во взрослом теле. Если спросить ее об этом, она, конечно, ответила бы, что считает себя вполне взрослой. Я вбираю воздух животом и слежу за ней взглядом, пока она не скрывается за дверь. До выходных осталось всего три пациента. Я чувствую себя измотанной, хотя только что встала.

Балансируя на одном из поддонов на полу ванной – Сигурд притащил их с одной изстроек, которые инспектировал, – чищу зубы. Раковина досталась нам от старого дедушки Торпа, как и душевая кабина, а это значит, что ее установили до 1970 года, и с тех пор если кто и пытался ее модернизировать, так только старый Торп собственноручно. В душе отдельный кран для холодной воды и отдельный – для горячей, и когда я смотрю на них, то так и вижу, как старый Торп крутит их искореженными артритом руками. Дедушка Сигурда не верил в земные блага. Он считал неизбежным воцарение в Норвегии коммунизма. Должно быть, он был разочарован, что на это потребуются так много времени; он-то ждал этого с пятидесятих годов. Когда старый Торп в конце концов испустил последний вздох в своем командном пункте на чердаке, его убеждения оставались столь же незыблемыми. Этому не помешал ни распад Советского Союза, ни экономический подъем Китая, но, надо думать, и этому тертому калачу взгрустнулось, когда его здоровье стало сдавать параллельно с тем, как коммунистические государства мира прогибались перед идеалами капитализма. Золотые дни его жизни пришлись на период холодной войны, и он ощутимо гордился, рассказывая всем своим гостям (главным образом это были мать Сигурда или мы с Сигурдом), что в семидесятые годы служба безопасности завела на него дело. Но вот в прошлом году всему этому пришел конец, и всё, что осталось от старика, – это памятные вещицы (старые печки и краны) да командный пункт с бесконечными полками, забитыми чтивом – журналами для членов компартии и Рабочей коммунистической партии (марксисты-ленинисты), с полотнищами карт, на которых чертежными кнопками были помечены стратегически важные, по мнению старика, цели, и с допотопным ржавым револьвером, якобы принадлежавшим участнику русской революции. Торп раздобыл его в семидесятые годы для самообороны – или для того, чтобы у службы безопасности были основания приглядывать за его телодвижениями.

Смерть старого Торпа дала нам с Сигурдом возможность исполнить мечту о собственном жилье. В пятидесятые годы район столицы Нурберг ничем не выделялся, но с годами его привлекательность возросла, и в 2014 году молодой и исполненной надежд пары вроде нас невозможно было наскрести достаточно средств, чтобы поселиться здесь. Навестив старикана и торопясь к станции метро, мы могли повздыхать – мол, посмотри только, какой вид, и до пригородной зоны рукой подать, и до центра на метро всего ничего, и море отсюда видно... А что еще скажешь. Нам светила в лучшем случае квартирка в таунхаусе в спальном районе, без близости к чему-либо и без вида на что-либо. Но через два дня после того как обнаружили тело старика, констатировали смерть и отправили в похоронное бюро для дальнейших приготовлений, Сигурду позвонила его мать и сказала:

– Послушай-ка, вам ведь дедушкин дом на Конгле-вейен прекрасно подошел бы?

У Маргрете нет ни братьев, ни сестер, она живет в современном отдельном доме на Рёа. Брат Сигурда Харальд живет в Сан-Диего, ему дом в Осло не нужен. На Харальда зарегистрирована дача покойного отца Сигурда в Круксуге, и тот обещал не продавать ее, пока мать не состарится настолько, чтобы поселиться там; зато когда в будущем придется продавать дом Маргрете, деньги достанутся ему. Дом старого Торпа перевели на нас.

Со смертью старого Торпа неприятно было еще то, что прошло почти три недели, прежде чем его нашли. В смысле он испустил дух в своем командном пункте на чердаке, прямо над спальней, где теперь спим мы с Сигурдом; сидел там с термосом кофе и изучал лист карты тех времен, когда Германия еще разделялась на Восточную и Западную. Умер, вероятно, из-за остановки сердца. Ничего неожиданного, все же ему было почти девяносто. Особо общительным он тоже никогда не был, заходили к нему только близкие родственники. Когда это случилось, Маргрете находилась в одном из своих двухмесячных путешествий по теплым краям, так что мы с Сигурдом взяли на себя обязанность раз в неделю навещать старика и проверять, всё ли в порядке. Но мы люди занятые, у нас работа, у нас своя жизнь, и мы пропустили недельку там, недельку тут, а потом заявили к нему с двухнедельной задержкой, и как только Сигурд повернул ключ в двери, нас обволокла тишина.

– Дедушка? – крикнул Сигурд.

Я помню, мы переглянулись со смущенной улыбкой, чувствуя себя немного виноватыми в том, что старый коммунист так долго пробыл в одиночестве, и когда я теперь представляю себе улыбку Сигурда, то вижу, как напряжены были его губы, будто он закрепил их уголки булавками, чтобы удержать ее. Меня подмывало сказать, что мы уже всё поняли, но это слишком пафосно. Или, может, ожидать нехорошего заставляло нас чувство вины...

– Дедушка?

Нашла его я. Он лежал, уткнувшись лицом в карту. Кожа у него посерела и покоробилась, как пересохшая перчатка, и стала такой же неживой: с синюшными пятнами, проступающими на теле залежавшихся мертвецов. Это зрелище я предпочла бы стереть из памяти. Желтые ногти будто вот-вот

отвалятся. Под мертвой пергаментной кожей на затылке выпирают костяшки, того и гляди вылезут наружу. Тяжелый затхлый дух мяса, превращающегося в компост. С тех пор я почти не захожу на командный пост. Может быть, эта история и подтолкнула Маргрете предложить дом нам...

Мы хотели сразу же заняться ремонтом, соскрести старика со стен, очистить дом от его присутствия, наложить свой отпечаток. Сигурд тотчас засел за чертежи, я прикидывала бюджет. Наша вновь обретенная экономическая свобода развязала нам руки. Бывшие однокурсники Сигурда решили открыть собственное архитектурное бюро и предложили ему сотрудничество. Теперь нам не нужно было тратить деньги на коммунальные услуги или оплату жилищного кредита, а деньги от продажи нашей квартирki ушли на то, чтобы оплатить долю Сигурда в общем бизнесе. Мне не нравилась работа в службе психического здоровья молодежи. Теперь у нас появилось место, где я могла устроить собственную приемную. Этот дом знаменовал начало новой эпохи. За четыре дня до переезда мы отправились в мэрию Осло и зарегистрировали брак. Потом вместе с моей сестрой и двумя лучшими друзьями Сигурда и их девушками съели по «Наполеону» в кондитерской Халворсена. Это ничего не меняло: мы остались теми же людьми, но нам хотелось навести порядок в отношениях. Первую ночь в собственном доме мы провели на надувном матрасе в гостиной. Чокнулись просекко и сказали друг другу: «Все только начинается».

Но оказалось, что отделаться от старого Торпа труднее, чем мы себе представляли. Ремонт затянулся. Как и период подготовки наших рабочих мест к деятельности как таковой. В особенности Сигурду приходилось часто задерживаться на работе допоздна, а чтобы привести жилье в порядок, без него, с его знаниями и умелыми руками, было не обойтись. Мы взялись за ремонт, исполненные энтузиазма и самонадеянности. Пластами срывали обои, сбили старый кафель в ванной. Кое-что удалось успеть: встроить новую кухонную мебель, оборудовать над гаражом кабинет для меня. Но тут наш энтузиазм поиссяк. У Сигурда появилось больше клиентов, приходилось оставаться на работе еще дольше. Он не поднимал головы от чертежной доски. Настала зима, стало холодно и темно, и у нас кончились силы. Отработав целый день, мы были не в состоянии ни красить, ни тащиться в строительный супермаркет за головками для душа или кранами, за кафелем или краской. Мы больше не смешивали грунтовку, не сдирали обои со стен, а плюхались на старый диван, привезенный из Турсхова, и пялились в телевизор. Сигурд часто возвращался домой к ночи, ссутулившийся, с болтающимся за плечом тубусом.

Дождемся лета, говорили мы. Потратим летний отпуск на ремонт. До лета три месяца с лишним, а я, боюсь, надежду потеряла. Опять что-нибудь помешает. Мы скажем – дождемся осени, а там нагрянут холода, наступит еще одна долгая зима, и я так и буду босиком скакать на застывших и негнущихся, как мерзлые поленья, ногах по поддонам в ванной.

* * *

Я принимаю пациентов в кабинете над гаражом. Там у меня крохотная комната ожидания, в которой помещаются подставка для обуви, жидкий стул и столик с газетами и журналами; дверь отсюда ведет в мой кабинет. Вера уже ждет меня, сидя на стуле. На коленях у нее лежит журнал, но, сдается мне, она не прочитала ни строчки. Я вхожу, и Вера поднимает на меня глаза.

– Привет, доктор, – говорит она.

От нее веет утренней свежестью, опрятностью.

– Привет. Подожди немного, я сейчас... Я тебя вызову.

– Ладно, – согласно откликается Вера, изогнув брови так, что те придают ее лицу выражение, чаще всего мною на этом лице читающееся: легкий налет иронии, которую она вкладывает чуть ли не во все свои высказывания.

Прохожу в кабинет и закрываю за собой дверь, чтобы за мной внутрь не проник Верин взгляд и не окрасил собой все мои действия.

Планировка кабинета Сигурду удалась. Площадь его невелика, и из-за скошенного потолка ее правильное использование стало альфой и омегой пространственного решения. Одну сплошную торцевую стену, обращенную в сторону ведущей к дому дороги, Сигурд сделал целиком стеклянной. Рядом стоят мои кресла, два замечательных кресла дизайна Арне Якобсена, а между ними – стол. Здесь, в самом светлом месте комнаты, сидим мы с моими пациентами. В крыше над креслами Сигурд установил чердачное окно, так что свет падает и оттуда, а пара простых потолочных светильников делает этот уголок уютным и зовущим, даже когда бушуют осенние бури или стоят темные, холодные зимние дни. Возле другой торцевой стены, отделяющей мой кабинет

от комнаты ожидания, он поставил небольшой белый письменный стол. По обеим сторонам двери навесил книжные полки на всю высоту стены, так что у меня достаточно места для всех моих книг и папок. Торцевая стена и пол отделаны светлым деревом, остальные стены выкрашены в белый цвет, и все вместе имеет современный, такой жизнерадостный и приветливый вид. Там, где наклонный потолок у продольных стен опускается близко к полу, я поставила горшки с растениями, и хотя, честно говоря, ухаживать за ними непросто, потому что, когда я выключаю рефлектор по окончании рабочего дня, здесь быстро становится холодно, они тоже способствуют созданию приветливой атмосферы. Комната говорит: здесь легко дышится. Здесь можно быть самим собой. Сказанного тобой здесь никто не осудит, не осмеет и не разболтает. Именно такой кабинет, располагающий к общению, я и хотела. Такой и получила. Сигурд постарался.

Но сейчас за дверью сидит и ждет вызова Вера, и в горле у меня растет удушающая усталость. Мне не хочется приглашать ее войти. Я подсаживаюсь к письменному столу и включаю компьютер, чтобы прочитать в ее медицинской карте записи за прошлый раз, хотя, строго говоря, этого не требуется: я помню, о чем мы говорили во время последней встречи. Тяну время, стараясь отдалить момент, когда придется ее вызвать. Почему я это делаю, не знаю, просто не хочу об этом задумываться. Терапевту небезразличны его пациенты, и Вера мне небезразлична, но из песни слова не выкинешь – с ней работать тяжело.

Сложности в отношениях с родителями, гласят записи с прежнего сеанса, сложности в отношениях с партнером. Все Верины проблемы из области отношений. Она начала ходить ко мне сразу после Рождества. Причиной указала депрессивную реакцию. Уровень ее умственного развития значительно выше среднего – можно даже сказать, она очень одаренная, – и на нее всё наводит скуку. Мне так всё надоело, – сказала Вера на нашей первой встрече, когда я попросила рассказать, зачем она ко мне пришла; ну вот будто ничто не имеет значения. Ее партнер, как выяснилось, женатый мужчина. Ее родители – ученые, они работают над доказательством математической теоремы, в которой что-то понимает всего горстка людей во всем мире; они вечно на работе, часто в отъезде. Другие дети ее родителей уже взрослые и давно выпорхнули из семейного гнезда, и Вера, более умудренная, чем ожидалось в ее восемнадцатилетнем возрасте, говорит, что их семья уже была полной ко времени ее появления на свет. Родители не собирались заводить еще детей. Она появилась на свет по недосмотру.

Тут есть над чем задуматься. Но дело не в этом. В жизни Веры проглядывает что-то болезненное. Но работая с ней, будто вязнешь в материале.

Я проверяю электронную почту, оттягивая момент, когда придется ее позвать. Одна реклама, ничего мне лично. Вдруг накатывает желание позвонить Сигурду. Это, конечно, просто блажь, времени без пяти девять, наверное, они с ребятами всё еще едут в машине... Я вздыхаю. Три пациента, а после них выходные. Одна весь вечер. В воскресенье обед у сестры, больше никаких планов. Может быть, схожу в спортзал.

– Готовы, доктор? – спрашивает Вера, когда я выглядываю за дверь и приглашаю ее войти.

Эту ерунду с «доктором» она затеяла во время нашей второй встречи. Спросила меня, какая разница между психологом и психиатром; я объяснила, что я психолог, не врач, что мое образование заключалось в изучении функционирования человека в целом, а не только патологий, но она прицепилась к первому тезису и сказала: «Так вы тогда не настоящий доктор?» Как ни досадно, но меня это задело, разбередив комплекс неполноценности, о существовании которого я и не подозревала. Я с некоторым вызовом парировала, что не хуже любого врача разбираюсь в том, что происходит у людей в голове. В ответ на это Вера рассмеялась и сказала: «Ладно, буду обращаться к вам „доктор“». Меня всегда несколько коробит, когда она произносит это слово. В горле начинает першить от ощущения, что я слишком раскрылась перед ней. Время от времени я задаюсь вопросом, понимает ли она, что мне это неприятно; не проявление ли это склонности к пассивной агрессии с ее стороны? Но, похоже, она вполне прямодушна, просто шутит так.

Пропускаю ее в кабинет впереди себя. Ростом Вера чуть выше среднего, бедра у нее прямые. Кисти рук великоваты, маятниками свисают по бокам. Я поглядываю на нее и задаю себе вопрос, который женщины всегда задают, встречаясь с другими женщинами: она красива?

Да, вполне мила. Молода. Но в то же время какая-то несуразная: это маленькое круглое личико, это длинное тело...

– Вот, – говорит Вера, усаживаясь, – я опять поссорилась с мамой и папой. И с Ларсом.

- Ага, - говорю я, поудобнее устраиваясь на стуле, - расскажи.

Она рассказывает, а через окошко в потолке падают лучи восходящего солнца, и в их свете ее волосы, все сотни курчавых волосков, выбившихся из ее вообще-то такой аккуратной прически, походят на нимб. У всех девушек есть такие непослушные прядки, думаю я. У меня самой их полно, больше, чем у Веры.

Механизм явления, о котором она мне рассказывает, очевиден. Вера чувствует себя отверженной родителями, у которых так много важных дел, что на нее времени не остается. Поскольку ей не удастся объяснить им, почему она чувствует себя обиженной, выяснения отношений ни к чему хорошему не приводят, и Вера, чувствуя себя после этого еще более отверженной, звонит партнеру и ввязывается в новую ссору. По окончании телефонного разговора женатый возлюбленный, что бы ни произошло, отправляется домой к жене, так что нет никаких сомнений в том, что в затеянной ею же ссоре отвергнутой останется она, и так Вера переносит тягостное чувство того, что родителям она не очень-то и нужна, на отношения с партнером, на которые она все же может сама влиять. Где-нибудь через полчаса после начала приема я делюсь этим наблюдением с ней.

- Ну я не знаю, - говорит Вера, наморщив нос. - Это как, не слишком простое объяснение? Какое-то немножко фрейдистское, нет?

- Следует ли понимать тебя в том смысле, что ты не согласна с этим?

Она переводит глаза на книжную полку, как бы прикидывая, верно ли мое толкование. Пальцами перебирает браслет на запястье, тонкий серебряный браслет с одинокой жемчужиной; вертит эту жемчужину между указательным и большим пальцем. Это украшение слишком взрослое для нее, думается мне. Девушки, которые ходят сюда, часто носят побрякушки с буквами, украшают себя словами типа LOVE, или TRUST, или ETERNITY[1 - Любовь, доверие, вечность (англ.)]. Этот браслет могла бы носить взрослая женщина.

- Не знаю. Надеюсь, что нет. Я вообще-то не думаю, что позвонила Ларсу, потому что мне хотелось почувствовать себя несчастной. Думаю, мне было плохо, и хотелось почувствовать себя лучше.

– Понятно, – говорю я. – А в результате ты почувствовала себя еще хуже, чем раньше.

– Да, – тяжело вздохнув, произносит Вера. – Так что, можно сказать, я выбрала неверную стратегию.

– А как ты думаешь, какая стратегия была бы правильной?

– Чтобы почувствовать себя лучше? Не знаю. Мне всегда приходят в голову только неправильные стратегии.

– Например?

– Самоповреждение, – говорит Вера. – Это же вроде классический пример? В моем классе одна девочка так делает. Еще и блог ведет об этом, фотографирует шрамы и выкладывает фото, полный бред... Но это не мой стиль. Если, конечно, не считать самоповреждением отношения с Ларсом.

Последнее высказывание приглашает продолжить этот ход мыслей, но я не клюю на это. Ей хочется поговорить о любимом, обсудить с кем-нибудь эти отношения, а довериться больше некому; но плохо ей, собственно, не из-за этого. Я вижу возлюбленного как симптом, в то время как причина депрессии коренится глубже, в том, о чем Вера говорить не хочет. Надо добраться до этого. Мое тело еще не до конца проснулось, я едва сдерживаю желание потянуться, сидя в кресле. Мне видно, как рассеивается туман за спиной Веры. Погода сегодня обещает быть хорошей.

– Ты расстроилась из-за ссоры с родителями, – говорю я. – Тебе хотелось поправить настроение, и ты выбрала, конечно, не самоповреждение или тому подобную глупость, но что-то, что могло бы тебе помочь, а именно поддержку со стороны другого человека. Проблема лишь в том, что ты выбрала человека, который тебя отвергнет, и ты это знала. Я вот что думаю: а если бы ты попробовала обратиться к кому-нибудь еще?

– Это к кому же?

– Не знаю. К кому-нибудь, на кого можешь положиться. К подруге, например...

- К подруге, - мрачно произносит она.

- У тебя есть подруги, Вера?

Она смотрит на меня. Оценивающе? В ее взгляде проскакивает вызов, и она говорит:

- У меня много подруг. Да господи, у меня их туча, больше, чем требуется. Но знаете, в чем проблема?

- Нет, - говорю я, - и в чем же?

- Они идиотки. Все как одна.

- Вот как, - говорю я, раздумываю немножко и выдаю ответное суждение: - Вряд ли тогда их можно считать такими уж хорошими подругами.

Вера втягивает в себя воздух. Лицо ее немного смягчается.

- Ну ладно, пусть не совсем идиотки. Но они ничего не понимают. Вы не представляете, что за девчонки в моем классе. Зачитываются слюнявыми блогами, планируют выпускной... им кажется, что самое важное в мире умение сейчас - это сделать себе брови ровно вот такой формы. Понимаете? Если спросить их про любовь, они начинают распространяться о том, как тусили на вечеринке с тем, знаешь, парнем из параллельного класса... Чем они могли бы мне помочь?

- Из того, что ты рассказываешь, можно сделать вывод, что, хотя вокруг тебя и крутится достаточно людей, но, собственно говоря, искать поддержки ты можешь мало у кого, - суммирую я.

- У меня есть Ларс.

- Да. Но Ларс - это не друг. То есть как ни крути, получается, речь идет об одиночестве, нет?

Такой поворот ей не нравится, сразу видно. Вера хочет, чтобы было достаточно Ларса. Она ощущает превосходство над школьными подругами, но не хочет, чтобы ей сочувствовали из-за ее обособленности.

– А почему, собственно, так уж необходимо бесконечно кому-нибудь доверяться? – спрашивает она.

– Я считаю, что у любого человека есть потребность иметь в своем окружении кого-то, кому можно довериться.

Эта мысль ей тоже не нравится.

– А у вас, у вас есть подруги, которым вы можете довериться? – выдает Вера, и теперь в ее тоне слышатся злоба, язвительность, задевающая меня; страшно неприятно быть объектом нападков. – У вас друзья есть вообще?

Вот она опять задрала бровь. Многие из обращающихся ко мне девочек рассказывают о борьбе за существование на школьном дворе, о важности уметь безжалостно, расталкивая всех когтями и локтями, пробиваться поближе к лидерам: съест или быть съеденной – другого не дано. Вера оглядывает меня с таким выражением, с каким королева класса смотрит на самую тихую девочку за последней партией.

– Да, есть, – тороплюсь ответить я. – Не то чтобы мы только и делаем, что ведем умные разговоры, но мне есть кому доверить самое сокровенное. Я считаю, что человеку это необходимо.

Мы испытующе смотрим друг на друга, и я уже понимаю, что мой ответ на ее выпад никуда не годится.

– И можно работать над тем, чтобы добиться этого, – говорю я, пытаюсь перевести разговор в конструктивное русло.

В ее взгляде проскальзывает нечто, в чем я не вполне могу разобраться; оценивает она меня, что ли? Потом ей становится как бы неинтересно.

– Правда? – говорит Вера, опуская глаза на жемчужину браслета, которую крутит пальцами. – Ну, может быть, вам это необходимо, но для меня это не так.

Тут я дала маху. Она разозлилась. Перенесла свою обиду на меня, так бывает с молодежью. Я не сумела справиться с этим, не сумела дать ей то, что нужно. Вместо этого пришлось оправдываться мне самой. Вера устало проводит руками по волосам – взрослый такой жест, – но когда, опустив руки на колени, снова глядит на меня, она выглядит моложе своих восемнадцати лет.

– Мне не нужны доверенные друзья, – говорит Вера. – Мне нужна только любовь.

У нее интонации упрямого ребенка, и я едва удерживаюсь, чтобы не погладить ее по головке. Верина слепая зона в этом. Она настолько убеждена в превосходстве собственного ума, в том, что она намного умудреннее и разумнее подруг, что даже представить себе не может объем всего того, чего ей еще не довелось испытать. Может быть, моя работа состоит как раз в том, чтобы помочь ей осознать это. Но я так устала... Сегодня пятница, а кроме того, наше время скоро истекает.

Бросаю взгляд на часы, и Вера замечает его.

– Пора сворачиваться, доктор? – спрашивает она.

* * *

На скорую руку набрасываю конспект того, что потом внесу в ее карту. Ссора с родителями, пишу я, ссора с партнером. Ощущает отторжение со стороны родителей, провоцирует ссору с партнером. Останавливаюсь, перечитываю запись. Зачеркиваю «провоцирует». Задумываюсь. Пишу: «заводит ссору с партнером». Оценка и обоснования... Как оценивать Веру? Боязнь отторжения, ранимость на предмет одиночества. Вмешательство: толкования; побуждать рефлексировать над собственными реакциями. Разобраться в истоках ощущения, что у нее нет ничего общего с окружающими.

Вижу в окно, что у обочины уже стоит «БМВ» матери Кристоффера, мигая аварийными огнями. Я ставлю точку; потягиваюсь, сидя на стуле, выкручиваю тело, как кухонную тряпку.

* * *

Когда я выглядываю в комнату ожидания, Кристоффер уже там. Сидит, высоко закинув ногу на ногу, лодыжка балансирует на колене, ноги разведены широко в стороны. Уверенно устроился на шатком стуле.

– Привет, Сара, как дела? – говорит он, поднимается и небрежной походкой направляется в кабинет. И идет без колебаний прямо к излюбленному креслу.

На первой встрече с пациентом стул служит своего рода лакмусовой бумажкой, я так проверяю всех новых пациентов. Пропускаю их в кабинет вперед себя. Молодые в большинстве ждут, пока я не приглашу их сесть, ждут, чтобы я как-то дала понять, которое из кресел предназначено для клиентов. Это же естественно. Кабинет мой, они в нем гости. Некоторые сразу спрашивают, куда им сесть. Некоторые же сами выбирают себе кресло, как Кристоффер. Придя сюда в первый раз, он на секунду задержался, приглядываясь к моим двум креслам, и выбрал для себя левое; опустился в него, закинул ногу на ногу. И все это с видом, будто кабинет принадлежит ему.

Сажусь на второе кресло. Так получается, что Кристоффер и Вера садятся на разные кресла, так что теперь я располагаюсь на сиденье, все еще сохраняющем тепло ее тела.

– Ну что, – говорит Кристоффер и оскаливает в улыбке все свои белые зубы, от моляров одной стороны до моляров другой, – я готов. Валяйте.

Он чуть ли не подмигивает мне; не подмигивает, но я не удивилась бы, если б подмигнул.

– Как у тебя дела, Кристоффер? – спрашиваю.

Стараюсь, чтобы это прозвучало нейтрально, дружелюбно, но сдержанно. Не хочу пойматься на его ухмылку.

– Ну как, – говорит он. – Да распрекрасно.

Надо сказать, что лицо, на котором сияет его внушительный оскал, покрыто легкой небритостью, что челка разделена на прямой пробор и ниспадает почти до самого подбородка; далее, что волосы выкрашены черной краской, а шею обхватывает покрытый заклепками ремешок, который я и хотела бы, но не могу охарактеризовать иначе как собачий ошейник. Кристоффер снял кожаную куртку и сидит в футболке, так что видны все татуировки у него на руках, а вокруг запястий и талии повязаны такие же ремешки с заклепками. Интересно знать, его вообще когда-нибудь кто-нибудь обнимает? Он парень красивый, привлекательный, а в роли аутсайдера выступает исключительно из-за того, что сам выбрал ее, и я полагаю, что если девушки и не увиваются вокруг него роем, то уж по крайней мере точно им интересуются. Но обнять его, утыканного этими заклепками?... Это же будто к ежу прижаться щекой.

– Как в школе? – спрашиваю я его.

– Нормально. Летаю по верхам, ха-ха. Но не падаю. Запишем в плюс, а Сара?

– А до?ма?

Ухмылка Кристоффера растягивается еще больше; обнажаются десны там, где через пару лет могут проклюнуться зубы мудрости, и он говорит:

– Блестяще. Папахен в Бразилии и не торопится возвращаться. У мамашки мандраж из-за этого. – Он тычет костяшкой пальца в одну из заклепок на ошейнике. – Вы бы ее слышали...

Сложив лицо в убедительную придурковатую мину с комически оттянутыми вниз уголками губ, он произносит фальцетом: «Кристоффер Александер, а тебе действительно необходимо ходить в школу с этой штукой на шее? Как у дешевой шлюхи».

Мне удастся сдержать улыбку. Кристоффер закидывает голову назад и заливается смехом.

– И это доставляет тебе удовольствие? – спрашиваю я его.

– Разумеется, – самодовольно говорит он.

– Послушай, – говорю я. – Я не то чтобы не в состоянии оценить тщание, с которым ты оттачиваешь свой стиль. Но тебе не кажется, что можно было бы найти другой способ раздражать собственную мать, не так смахивающий на, ты знаешь, самоповреждение?

Из горла Кристоффера вырывается еще смешок.

– Вот это мне и нравится в вас, Сара, честно скажу. Тщание, с которым я оттачиваю, – ей-богу, лучше не скажешь. Ну почему, можно бы. Но я ведь никогда не занимался самоповреждением.

– Я это знаю. – Сейчас я смотрю на него серьезно, и его ухмылка съезживается на треть. – Но на мысли об этом наводит такой стиль.

– Насчет этого, я думаю, мы можем сойтись на том, что каждый может остаться при своем мнении, – говорит он.

Время от времени Кристоффер любит выдавать такие вот мудрые мысли. Все шесть месяцев, что мы знакомы, он выглядит как член секты сатанистов – но поскреби, и под самой поверхностью обнаружится воспитанный мальчик из обеспеченной семьи. Во время нашей первой встречи он взял меня за руку, представился и сказал, что со мной приятно познакомиться. Кристоффер ходит на терапию, потому что его мать считает это необходимым. Пару лет назад его родители развелись в шумном, слезливом театральном стиле, с хлопаньем дверями и прочими эффектами. Пристрастия Кристоффера в одежде и музыке, вкупе с дерзкими речами и резким ухудшением оценок, одним махом вывели мамашу из постразводного ступора. Она позвонила мне и срывающимся в дискант голосом заявила, что ее сыну немедленно требуется помощь.

Это модифицированная истина. С самой первой встречи я была убеждена, что с Кристоффером всё будет хорошо. Он продолжит упорствовать в своем юношеском бунтарстве до тех пор, пока оно будоражит его мать, и, возможно, до тех пор, пока можно надеяться, что оно заставит отца из чистого любопытства наведаться домой из Бразилии. Но в один прекрасный день в недалеком будущем, задолго до начала выпускных экзаменов, уберет подальше свои черные одеяния, цепи и ремешки с заклепками, прилично оденется и как ни в чем не бывало отправится в школу наверстывать упущенное. Закончит среднюю школу с оценками, достаточно хорошими для того, чтобы заниматься в

жизни тем, чем захочет, и все у него сложится прекрасно. Я это знаю, и Кристоффер тоже это знает.

Не знает этого только один человек – мать Кристоффера, и в этом заключается этическая дилемма. Ведь если Кристофферу терапия не требуется, этично ли с моей стороны заниматься такой терапией неделю за неделей? С другой стороны, мне нужны все пациенты, каких я только сумею заполучить. Кристоффер, со своей стороны, не против приходить сюда. Мы вполне ладим, и я догадываюсь, что ему нравится получать терапию; это в каком-то смысле служит оправданием тому стилю, в котором он упражняется. Мать Кристоффера, которая сейчас ждет его в «БМВ» с невыключенной аварийкой, несомненно, лучше спит по ночам, зная, что он в моих опытных руках, как она выражается. Что это, если не договоренность, устраивающая всех участников?

Хоть и не столь настойчиво, сколь следовало бы, я пыталась прекратить сеансы. Но вечером того же дня мне позвонила мать Кристоффера, заливаясь слезами.

– Сара, – простонала она, – не отказывайтесь от него! Вы – наша последняя надежда.

Это было под самое Рождество, шел снег; я сидела в том кресле, в котором сейчас сидит Кристоффер, всматривалась в заснеженную темноту и думала: ну и пусть себе ходит. Какой от этого вред? Я облекла эту мысль в профессиональные термины для себя самой, поскольку ни перед кем другим мне не требовалось оправдаться. Я обеспечиваю ему эмоциональную коррекцию, сказала я себе. Я взрослый человек, которому можно довериться, с кем можно исследовать собственную идентичность. Такие вещи я пишу в его медкарте. И утешаюсь тем, что, поскольку я веду прием частным образом, на это тратятся не деньги налогоплательщиков, а наоборот, деньги состоятельного отца Кристоффера. Ему, отцу Кристоффера, настоящему говнюку, как я понимаю из телефонных разговоров с матерью, так и надо.

* * *

Мне звонил Сигурд. Оставил сообщение на телефонном ответчике, пока я была занята с Верой. Теперь я сижу на кухне, обедаю бутербродом с тунцом, запиваю его апельсиновым соком. Проигрываю сообщение по громкой связи: кладу телефон на стол рядом с собой и слушаю, жуя бутерброд.

«Привет, любимая, – говорит голос Сигурда, с его теплым мелодичным звучанием. – Мы уже у Томаса на даче. И здесь, эх, здесь классно, я...»

В телефоне раздаётся потрескивание, потом я слышу, как он усмехается: в голосе булькает пара пузырьков.

«Это тут Ян-Эрик, шустрит с поленьями, вот дурак... Я... Слушай, мне пора идти. Я только хотел сказать, что мы на месте и, ну, я позже перезвоню. Я тебя люблю. Ладно. Пока».

Бутер почти доеден. Я сижу с ним в руках, слушаю голос мужа и чувствую, как щемит под ложечкой: я скучаю по нему. Что за дурацкая мысль... Он ушел из дома каких-то пару часов назад. Мне вообще-то нравится быть дома одной. Делать зарядку. Есть еду, которую он не любит. Смотреть фильмы, которые ему кажутся дурацкими. Пить белое вино, которое, по его мнению, годится только для невест и пожилых тетенок. Рано ложиться. Что-то успевать...

На ответчике всего лишь голос. Позвоню ему после работы. Я доедаю бутер, запиваю его водой. Мой следующий пациент – Трюгве. Пока я читаю его медкарту, успею выпить чашечку кофе.

* * *

Трюгве приходит ровно в два часа: всегда точно к назначенному времени, и ни секундой раньше. В противоположность Кристофферу он ясно дает понять, что бывать здесь ему не хочется. В комнате ожидания не садится; когда я открываю дверь, чтобы пригласить его в кабинет, стоит спиной к входной двери, сложив руки на груди.

– Входи, – говорю я, и Трюгве проходит мимо меня с горестным выражением на лице: губы сжаты так плотно, что их почти не видно.

Он выбирает то же кресло, что и Вера, но никогда не садится, пока я не предложу. А когда сядет, не сдвигается в глубь сиденья, а остается на самом краешке, готовый вскочить.

- Ну что, - говорю я, - как прошла неделя?

- Хорошо, - монотонно произносит Трюгве.

- Как учеба в школе?

- Хорошо.

- Ты сделал то, что должен был?

- Да.

- Ты играл?

- Немножко.

- Ты играл дольше, чем мы с тобой договаривались?

Теперь он смотрит на меня. У него песочного цвета волосы и карие глаза, правильные черты лица, ничего необычного; если можно так выразиться, в первую очередь в нем замечаешь, что он такой незаметный. Трюгве в неприятной степени контролирует мимику своего лица, и только в виде исключения - например, если он не на шутку раздражен - цензуру минует непросчитанное движение. Когда мы с ним встретились в первый раз, я подумала, что не удивлюсь, если он окажется серийным убийцей.

Но Трюгве ходит ко мне не потому, что готовится стать убийцей, не потому, что мелочно контролирует все свои поступки, и не потому, что находит жизнь бессмысленной. Он ходит на терапию, потому что у него игровая зависимость: он играет в «Мир Уоркрафта». Или, точнее, потому, что его родители условием его дальнейшего проживания с ними поставили получение терапии. Ему двадцать лет, он старше большинства моих пациентов; школу бросил за семь месяцев до выпускных, потому что занятия отвлекали его от игры. Родители обеспокоены, и не без оснований. У нас с ними договоренность, что, если Трюгве не приходит на сеанс, я им звоню; он согласился на это. Но, как я это вижу, лишь потому, что если его выкинут из дома и ему придется работать, чтобы иметь крышу над головой, это будет отнимать слишком много времени от игры.

- Я почти удержался в рамках квот, - говорит Трюгве.

- А при каких обстоятельствах ты в них не удержался?

Он фыркает, но сдерживается; получается похоже на подавленный чих.

- Два раза вечером. В воскресенье и в четверг. В остальные дни почти идеально.

Его губы стянуты в прямую линию, челюсти напряжены, и эта его строптивость так утомляет меня, что мне хочется сложить лапки и сказать: ну ладно, пусть, почти идеально, давай тогда закончим на сегодня.

- А сколько лишнего времени ты играл в эти дни? - спрашиваю я.

- Немного.

Я вздыхаю. Ибо знаю: с Трюгве нужно называть конкретные цифры.

- Так, посмотрим; в воскресенье тебе разрешается играть с шести до одиннадцати. Во сколько ты начал?

- В шесть.

- А во сколько закончил?

Пауза. Желвак на его челюсти заметно выпячен - это он так сильно сжал зубы. Вообще та часть его лица, где расположены челюсти и подбородок, очень уж квадратная; может, как раз это немного необычно. Я читала, что мужчины с широкими челюстями считаются привлекательными. У Трюгве такая челюсть лишь подчеркивает непроницаемый вид; он обычный, да, наверное, но даже это выражение лица - серое, тусклое, среднестатистическое выражение его лица - кажется просчитанным. Если даже допустить, что Трюгве подробно распланировал свою жизнь, то уж совершенно точно ни единой душе во всем мире неизвестно содержание этих планов.

- За полночь.

Явный эвфемизм.

- До какого часа за полночь?

Челюсть вновь топырится.

- До трех.

- Ага, до трех... А в четверг - вчера, значит - тебе можно играть с семи до одиннадцати. А ты сколько играл?

Новая пауза.

- До трех.

- О'кей, ясно. Если подсчитать, то получается, что на этой неделе ты играл - сколько там - на восемь часов больше, чем мы договаривались.

Трюгве молчит, лицо застегнуто на все пуговицы.

- Что ты об этом думаешь?

Он пожимает плечами.

- Разве это хорошо? Что ты скажешь?

Трюгве опять пожимает плечами; смотрит на часы, снова кладет руку на подлокотник и опять смотрит на часы. Его на кривой козе не объедешь - с ним нужно быть суровой, на его ожесточенность отвечать своим упорством.

- Я ведь не забыла, что раньше ты употребил слово «идеально», Трюгве.

- Я сказал «почти идеально».

- Да, я помню. Мне не очень понятно, почему ты выбрал это слово.

Трюгве не выдыхает, а выдувает воздух изо рта, резко и шумно; словно паровой каток выпустил пар.

– Я не знаю, Сара, – говорит он; его раздражение грозит вот-вот прорваться на поверхность. – Может быть, я выбрал это слово, потому что охрененно счастлив сидеть здесь каждую неделю и распространяться перед тобой обо всех своих личных пристрастиях.

Вот оно, его раздражение, тут как тут. Я отмечаю, что сегодня оно проступило в гораздо более явной форме, чем обычно. Наверное, он тоже это заметил и потому смолк; выражение на его лице – насупленные брови, искривленные губы – остается на лишнее мгновение, но он быстро берет себя в руки и как бы стирает его, заменяя нейтральным.

– Да, я тоже так думаю, – торопливо парирую я; может быть, мне удастся пробиться к нему, пока он не успел снова замкнуться. – Я думаю, наши сеансы очень неприятны для тебя. Может быть, расскажешь, как ты справляешься с этими негативными эмоциями в те дни недели, когда не приходишь сюда?

Он снова пожимает плечами.

– Не знаю. Я об этом мало думаю.

– Ну вот, к примеру, – говорю я, снова конкретизирую. – В десять часов вчера вечером, когда тебе пора было закончить игру, что ты тогда подумал?

«Почувствовал», надо было сказать; делать упор на разумное поведение ошибочно.

– Не знаю. Ничего не подумал.

– Но ты ведь знал, что сегодня я тебя спрошу об этом.

– Я не думал об этом.

– Я вот не могу понять, Трюгве: ты сам-то настроен следовать плану, который мы составили?

- Не знаю. Наверное. Попробую.

- Дело в том, что ни я, ни, кстати, твои родители, никто не может вынудить тебя прекратить играть; ты сам должен этого захотеть.

- Да знаю я. Хочу.

На меня вновь накатывает утренняя усталость, во стократ сильнее, чем после Веры. Чтобы поведение Трюгве изменилось, он действительно должен захотеть этого сам – но, что совершенно очевидно, не хочет. Во всех учебниках написано, что у приходящих на терапию пациентов всегда имеется мотивация; на худой конец они не уверены в том, чего хотят. Гуру психологии твердят: зацепись за то, что есть. Трюгве хочет остаться жить в доме родителей, отсюда и нужно танцевать; но непонятно как. Возможно, проблема в том, что его желание такое приземленное. Не сохранить отношения с родителями, не остаться жить с ними, потому что там родной дом, – а просто-напросто иметь кров и электричество для компа. И если быть до конца честной, я не представляю себе, чем можно помочь Трюгве. Не один игрок просадил таким манером годы своей жизни, и, похоже, этот парень намерен жить именно так. Он как скала, и мне думается, что, пока он хочет играть, с этим ничего не поделаешь.

Но сегодня уже пятница. У меня нет душевных сил заводить квазидискуссию, в ходе которой Трюгве скажет то, что и должен сказать в соответствии с нашей договоренностью.

- Ладно, – говорю я. – Тогда как ты думаешь, что требуется, чтобы на следующей неделе ты выполнил условия?

- Я буду стараться сильнее, – цедит Трюгве сквозь сжатые губы.

- Прекрасно, – говорю я, – давай постараемся. Тогда до следующей пятницы? В то же время?

* * *

Собравшись ехать в спортцентр, я звоню Сигурду; не отвечает.

* * *

Телефон звонит, когда я еду на метро домой. Вагон со скрежетом вписывается в поворот после станции «Уллевол». Снаружи темно, в вагоне под желтым светом сидят редкие пассажиры: возвращающиеся с работы женщины и мужчины с «дипломатами» и смартфонами в руках, пара-тройка лыжных фанатиков, едущих в лесопарк, чтобы продлить зимний сезон, и я, такая взмокшая, что окошко рядом со мной запотело. И тут тишину прерывает вибрирующее гудение телефона в моей сумке, на экране высвечивается имя Яна-Эрика.

- Алло? - произношу я с вопросительной интонацией, будто не знаю, кто это.

- Да, привет, Сара, это Ян-Эрик, - отвечает он. Голос у него удивительно неровный, неуверительный, колеблющийся, как вагон, в котором я сижу; я с трудом сдерживаю вздох. Набралась уже, что ли? Сколько можно ребячиться, дошли уже до розыгрышей по телефону...

- Да, - говорю я резко, как бы «давай ближе к делу».

- Ну... мы, Томас и я, мы просто хотели спросить: тебе Сигурд не звонил?

- А что такое? - спрашиваю.

Подъем становится круче, мы подъезжаем к станции «Берг»; до моей еще две остановки и всё. Дома кажутся ненастоящими, они как игрушки: черные кубики со светящимися прямоугольниками в стенах. Не верится, что в них живут люди.

- Да нет, мы просто... Мы просто думали...

Он прокашливается, и я думаю, что как-то уж это слишком невнятно, даже для него.

- Что вы такое думали, Ян-Эрик?

- Да нет, просто... А когда он приедет?

– Как когда приедет?

В висках стучит: сначала Трюгве, потом велотренажер, теперь Ян-Эрик. Мне бы в душ, бокал белого вина и салатика с цыпленком...

– Ну... Ну то есть, он говорил, что приедет часов в пять, а уже восьмой час, ну и мы просто... ну, просто он нам не отвечает, ну вот, хе-хе... ну, мы не поняли, мы подумали, может, ты знаешь, где он? Или, может, он тебе звонил...

Слышно, как кто-то рядом с ним бубнит; это Томас. Я выпрямляюсь на сиденье.

– Да ничего, наверняка всё в порядке, – говорит Ян-Эрик, чуть ли не вопит, аж уху больно, – мы просто на всякий случай.

Томас разумнее Яна-Эрика; он мне не особо нравится, но лучше уж он, чем Ян-Эрик.

– Послушай, – говорю я как можно тише, чтобы не было слышно остальным пассажирам, но достаточно громко, конечно, чтобы меня слышал собеседник. – Сигурд звонил мне где-то в половине десятого и сказал, что вы уже на месте. А после уже не звонил.

На другом конце настает тишина. Потом снова какое-то бормотание; мне не слышно, что они говорят. Они переговариваются друг с другом почти шепотом, но мне слышны их голоса.

– Что вы там бубните? – спрашиваю я, уже так громко, что все сидящие рядом явно всё слышат. – Я не понимаю, что вы говорите.

Снова тишина, потом что-то бормочет Томас, и Ян-Эрик говорит:

– Я что-то не догоняю, Сара... Мы с Томасом сюда только к часу добрались. А Сигурд говорил, что он на машине приедет, попозже...

В голову мне вдруг вступает тупая и жгучая боль.

– Он звонил в половине десятого – в десять, – устало говорю я; меня уже всё достало – и они, и метро, и весь этот день. – Он сказал, что вы уже там; он сказал...

Мне вдруг вспоминается: Ян-Эрик, поленья...

– Он сказал, что ты шустришь с поленьями.

Наступает полнейшая тишина. Вагон мчится по ровному участку, даже метро не громыхает. Ян-Эрик говорит:

– Но мы с Томасом в десять только из Осло выехали.

Рассказы людей часто непоследовательны; в них много всякой неправды – не то чтобы откровенной лжи, а скорее срезанных углов. Поэтому одна и та же история, рассказанная одним и тем же человеком при разных обстоятельствах или рассказанная разными людьми никогда не совпадает на сто процентов. Один сел на автобус, хотя проще было бы добраться до места на метро. Другой провел отпуск в Дании, но в аптеке ему пришлось объясняться по-немецки. Эти рассказы безобидны, не стоит воспринимать их буквально. Может, ты отвлекся, слушая; может, речь шла не о кафе рядом с метро, а о другом, с похожим названием, около автобусной остановки. Может, они собирались на пароме не в Данию, а в Киль. Как правило, для всего находятся правдоподобные объяснения. Нет, в Дании-то мы были, но на один день смотались в Германию. Просто без этой подробности было удобнее рассказать эту историю.

Но чтобы истории расходились настолько... Чтобы настолько противоречили фактам... Такое нечасто случается. Даже в сфере терапии это необычно: да, мама говорит, что я напился, а я просто выпил кружку пива, ну две; страшно устал, язык у меня не ворочался, верно, – но я был не таким уж пьяным. Рамки истории растягивают в разных направлениях. Что-то приукрашивают. Но никто не скажет А, когда неоспоримо Б и это Б исключает А. Не скажет: «Я проезжаю на машине перекресток на Синсен», если на самом деле несет охапку дров к даче на Нурефьелле. Не скажет: «Вон Ян-Эрик идет», если на самом деле видит пустой и безлюдный двор, а Ян-Эрик оттуда за тридевять земель.

Такие противоречия неправдоподобны, их не объяснить недопониманием или непоследовательностью. Тут возможно только одно из двух: либо Ян-Эрик был в

начале одиннадцатого на Нурейфелле и врет сейчас; либо Ян-Эрик в десять часов выезжал на машине из Осло, и тогда Сигурд наврал.

Но я не в силах поверить в это. Скорее уж Ян-Эрик подшутил надо мной. Я никогда не понимала его шуток. Однажды он хохотал так, что у него пиво пошло носом: он тогда уговорил Сигурда откусить от перчика чили, наврав, что это сладкая паприка. Вот мы сейчас договорим, и он будет, всхлипывая от смеха, корчиться в конвульсиях на дачном полу от радости, что надул меня. Сигурд вернется из туалета во дворе, посмотрит на него, неуверенно улыбнется и спросит: «Ты чего так веселишься-то?»

– Наверняка этому есть естественное объяснение, – говорю я. – Послушай, я сейчас в метро, еду домой с тренировки. Может быть, попробуем ему еще раз позвонить? И я, и ты. О'кей? А вечером, попозже, созвонимся, когда разыщем его.

– Конечно, о'кей, – с подозрительной готовностью подхватывает Ян-Эрик, – конечно, давай так, да, хе-хе, наверняка мы просто неправильно поняли друг друга... А мы просто... Ну. Просто хотели проверить.

– О'кей. Позже поговорим. Привет Томасу.

Мы заканчиваем разговор. Я набираю номер Сигурда, слушаю звонки, пока не включается автоответчик. Поезд метро въезжает на станцию «Берг». Я смотрю в окно, вижу в стекле отражение своего лица, еще красного после упражнений на тренажере, и думаю: как-то это странно все-таки...

* * *

Логический изъян в этой истории доходит до меня, когда я стою под струей воды в душевой кабине старого Торпа. Итак, существуют только две возможности: врет один из них – либо Ян-Эрик, либо Сигурд. Чувство юмора у Яна-Эрика специфическое, но даже для него это слишком. А Сигурд – надежный человек, он мой муж, он не врет.

Но предположим, что Ян-Эрик говорит правду. Предположим, что Сигурд по какой-то наверняка совершенно невинной причине наврал; готовил мне сюрприз,

например... откуда мне знать. Предположим. Почему же он тогда не появился на даче?

Вот тут-то я пугаюсь. В животе твердеет холодный ком. Где Сигурд сейчас? Но я заглушаю страх: не глупи, Сара, наверняка все объясняется просто: потерялся или разрядился мобильник; Сигурд уже подъезжает к даче; он наверняка уже звонил с телефона Яна-Эрика, пока я моюсь... Это помогает: страх становится не таким острым, обволакивается в вату и мех, превращается в ноющий комочек беспокойства. Я смываю шампунь и закручиваю кран. Выхожу из душа, наскоро вытираюсь полотенцем, дрожа от холода на деревянном поддоне, и хватаю банный халат с другого поддона, прислоненного к стене. Заматываю голову полотенцем, накидываю халат и, похлопывая себя руками по плечам, чтобы согреться, выскакиваю из ванной и сбегая по лестнице на кухню.

Но на телефоне непринятых вызовов не высвечивается. Когда я прикасаюсь к экрану, всплывает фото, на котором Сигурд, я и Тео, старший сын моей сестры. У всех троих во рту кусочки апельсина, мы улыбаемся; всё в оранжевом цвете. От смеха Сигурд сощурил глаза так, что они почти не видны, только темные бусины проглядывают из складок кожи. Рот широко растянут в улыбке, апельсиновая кожура закрывает зубы. Прорывается на волю мой запакованный в животе страх.

Я включаю автоответчик и проигрываю сообщение Сигурда.

– «Привет, любимая. Мы уже у Томаса на даче. И здесь, эх, здесь классно, я... Это тут Ян-Эрик, шустрит с поленьями, вот дурак... Я... Слушай, мне пора идти. Я только хотел сказать, что мы на месте, и, ну, я позже перезвоню. Я тебя люблю. Ладно. Пока».

Проигрываю запись снова и снова. Голос Сигурда. «Привет, любимая». Он всегда так говорит. Ничего странного. Ни покашливания. Ни дрожи в голосе. Потрескивание, когда подходит Ян-Эрик, звучит вполне обыденно; пауза перед тем как он отходит, не кажется натянутой.

«Я тебя люблю», – он всегда так говорит. «Пока...» Я прослушиваю запись в третий раз, еще внимательнее. Он в доме или на улице, например? Пару лет назад мы ездили вместе на эту нурефьелльскую дачу, и я помню, как там все расположено. Совсем недавно я представляла себе, как он стоит в дверях, а Ян-Эрик идет через двор с охапкой поленьев в руках, чуть не роняя их, и Сигурду

приходится прекратить разговор, чтобы помочь ему. Но так ли это было? С тем же успехом можно предположить, что оба они в доме и Ян-Эрик дурачится со сложенными возле печки поленьями – например, прикладывает их к голове как уши, или понарошку замахивается на Сигурда поленом... И тот прекращает разговор, чтобы убежать?

«Вот дурак», – это потому что Ян-Эрик чуть не упал или потому что он валяет дурака? Вообще, похоже ли это на Сигурда, употреблять такое слово? Я со вздохом признаю, что нет – когда мы познакомились, Сигурд никогда не сказал бы «вот дурак». Это на него так влияют друзья детства. Особенно Ян-Эрик. Тот Сигурд, с которым я четыре года назад познакомилась в Бергене, так не сказал бы.

Прослушав запись в четвертый раз, я решаю, что они на улице. Если б они сидели в доме, то было бы слышно эхо производимого Яном-Эриком шума. Чтобы услышать звуки на воздухе, требуется больше времени. Если только Ян-Эрик не снаружи, а Сигурд видит его через окно...

Если Ян-Эрик вообще там. Прорывается еще порция страха, спрятанного в животе.

Я снова набираю Сигурда. Звонки, звонки...

– «Привет, это автоответчик Сигурда Торпа. К сожалению, я не могу сейчас ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню». Гудок.

– Привет, любимый. Это я. Позвонишь мне?

Я тяну, не вешаю трубку. Почему не вешаю?

– Я люблю тебя. Ладно. Позвони. Пока.

«Любимый». Мы это обсуждали. «Солнышко» – слишком по-детски. «Дорогой» – слишком официально, если, конечно, не употреблять это слово иронически, но тогда оно отдаляет друг от друга. «Детка» – для подростков. «Радость моя» – слащаво. А вот «любимый»... Немножко по-домашнему, но не слащаво. От глагола «любить», и тем самым соответствует по содержанию. Ровно то, что мы

чувствуем, но что язык не поворачивается выговорить всякий раз, когда мы болтаем по телефону. Мы с Сигурдом не из тех, что к месту и не к месту талдычат «я тебя люблю». Мы приберегаем эти слова для особых случаев, с жаром шепчем их друг другу, когда щемит в груди от осознания, насколько верно эти слова отражают наши чувства. «Любимый» – кодовое слово.

Я звоню Томасу. Он берет телефон после первого же звонка.

– Не звонил? – спрашиваю я, и Томас, кашлянув, отвечает:

– Нет.

– Томас... Ну в самом-то деле! Вы издеваетесь, что ли?

– Нет, – говорит он: большое овальное отрицание – типа как я только могла так подумать? – Нет, мы никогда так не поступили бы.

– Я просто... я ничего не понимаю.

– Мы тоже. Не знаем, что и думать. Мы когда приехали, на снегу следов не видели. Не может быть, чтобы он приезжал. Я хотел спросить: ты уверена, что он сказал именно это?

В животе у меня щемит. У Томаса голос не вихляется, как у Яна-Эрика. Он связно излагает. Они не пьяные. Томас вообще-то не вредный. У него нормальное чувство юмора, он смеется над Монти Пайтоном и стендап-комиками в телевизоре.

Я говорю:

– Он оставил мне сообщение на телефоне. Со времени нашего с тобой разговора я прослушала его четыре раза. И помню все, что он сказал.

– О'кей, – отвечает Томас. – Ну, не знаю тогда... Наверное, он просто дурачился. Может быть, он собирался... Не знаю.

Он тяжело сопит в трубку. Позади него что-то произносит Ян-Эрик.

Я не дышу.

- Что будем делать? - спрашивает Томас.

* * *

Мы решаем подождать, посмотреть, что будет дальше, - а что нам еще остается? Занимайся своими делами, говорит мне Томас, и я делаю салат с курицей. Открываю бутылку белого вина. Думаю: ну что за глупость? Думаю: потом окажется, что всё легко объяснялось, и мы вместе посмеемся над моими страхами, Сигурд и я. Представляю себе, как расскажу ему именно об этом моменте: «я тогда стояла вот там, делала салат с курицей и не знала, что и думать»; «ну надо же, бедная моя, как же ты не догадалась, что я просто заночевал в бюро»; «нет, мне это и в голову не пришло, я не могла понять, почему ты не звонишь»; «ну как же, просто потому что, потому что, потому что...»; «но, любимый...»; «а ты испугалась? мне жаль, что так вышло, что я испортил тебе ужин с кино по телевизору»; «да ну, ничего страшного, что ты, всё в порядке...»

Комок в животе выпирает сквозь обмотанные вокруг него слои самоуговоров.

Я подливаю себе вина.

Значит, Сигурд наврал. Или врут Ян-Эрик с Томасом, но это вряд ли. Почему я доверяю им больше, чем собственному мужу?

Потому что они здесь. Потому что они разговаривают со мной. Потому что Сигурд не отзывается, не выдает свою версию этой истории. Вот в чем загвоздка. Сигурд, почему ты так? Ну выйди же на связь. Объясни, что значит это голосовое сообщение...

Я снова звоню ему. Гудок в трубке звучит агрессивно; ответа нет. Потом легкий щелчок - это включился автоответчик. Мгновение надежды: неужели ответит? Потом запись: «Привет, это автоответчик Сигурда Торпа...»

Еда какая-то безвкусная. На «Нетфликсе» я нашла женский фильм «Разум и чувства», экранизацию романа Джейн Остин: дамы в капорах и длинных платьях, господа с прекрасными манерами, скрывающими эмоции... Сигурд ни за что не стал бы смотреть.

Значит, он наврал. Ну и что? Я говорю, что он никогда не врет, но откуда мне знать... Разве мужчины не врут в первую очередь как раз своим женам? Ведь есть же тысяча причин наврать самому близкому тебе человеку?

Я ведь и сама врала – не так уж редко я вру, и даже Сигурду. Ему в особенности. Говорю, что с практикой дела у меня идут неплохо, что зимой новых пациентов привлечь сложновато, но вообще все будет нормально. Не говорю, что чувствую себя одинокой в кабинете над гаражом (это я-то, предвкушавшая расставание со своими коллегами, которые только и делали, что ныли, цапались, совали нос в чужие дела и сплетничали). Не говорю, что не публикую рекламу, что не выложила объявления в «Гугле», хотя один парень, выпустившийся годом раньше меня, рассказывал, что именно так находят пациентов. Не говорю, что не оповестила всех знакомых об открытии частной практики; не говорю, что не завела страничку в «Фейсбуке», что не лезу из кожи вон в поиске пациентов. Говорю только, что все будет нормально. Подумав, еще подвираю: дескать, моему знакомому тоже кажется, что сейчас, зимой, дела идут хуже, – хотя он никогда этого не говорил, сказал только, что пациентов было немного первый месяц, пока он не начал рекламировать свои услуги. Я передергиваю, присочиняю, недоговариваю. Чтобы Сигурд не бухтел. С ним бывает. «Ты говорила, что будешь больше зарабатывать; не хочу на тебя давить, но на ремонт нужны деньги...» Он любит об этом упомянуть, когда я наседаю на него из-за неоконченного ремонта. Старый Торп, въевшийся в стены, должно быть, потирает руки. У меня так много других дел, отвечает на это Сигурд, но так ли это? «Аткинсон», – говорит он. Судовладелец, вроде англичанин; живет недалеко от Санкт-Ханс-хауген; Сигурд проектировал для него перестройку подвала. В особенности с фру Аткинсон сплошные проблемы. С ней и с самого начала было сложно договориться, и чем дальше, тем больше. «Нет, лестница нужна не такая; мы так не договаривались», – говорит фру Аткинсон. Ей втемяшилось, что, когда врежут еще окно, станет гораздо светлее. Сигурду приходится быть любезным, вникать в ее разочарования, объяснять, снова садиться за чертежную доску. К тому же она скандалит из-за денег. «За это не буду платить, мы так не договаривались...»

«Аткинсон, – говорит Сигурд, поздно вернувшись домой и приземлившись перед телевизором, – весь день доставала по телефону; пришлось переться к ним, инспектировать лестницу, которая преобразила пространство и сделала его светлее не настолько, насколько она себе представляла». Слова Сигурда следует понимать в том смысле, что сегодня вечером он не в состоянии ничего делать ни в ванной, ни в спальне, ни уж, конечно, ремонтировать лестницы в нашей несуразной развалюхе. Закинув ноги на столик, он будет пялиться в телек на то, как американцы 30 дней скитаются в пустыне безо всякой помощи, и одновременно играть в компьютерные игры. Он что, не заслужил это? Ублажая фру Аткинсон день напролет?

А может, всё совсем не так? А как когда я говорю, что сложновато привлечь пациентов?

* * *

Нужная мысль приходит мне в голову в тот момент, когда герои фильма в изысканных выражениях выказывают радость по поводу своих разбитых сердец. А что же эта серая пластиковая труба, отсутствующий тубус?...

Может быть, он собирался поработать на даче. Может, тогда выходит логично, что он взял с собой тубус. Но как он мог звонить с дачи на Нурефьелле, если перед домом, когда приехали Ян-Эрик и Томас, не было следов? Может, он и видел Яна-Эрика с поленьями. Но зачем теперь обоим его приятелям врать об этом? Это он наврал... Ну ладно. Наверное, все понемногу врут. Но Сигурд наврал о том, где он. И с кем он. Я прослушиваю сообщение на ответчике снова. Я помню его наизусть, но дело не в этом. Что я слышу?

– «Привет, любимая. Мы уже у Томаса на даче...»

Не слышится ли намек на обман в его голосе?

– «И здесь, эх, здесь классно...»

Зачем тогда все это вранье? Еще и вздыхает... «Эх, здесь классно...» Так вот тебе, Сигурд: здесь, на Конгле-вейен, в старом доме, где жил и умер твой старый дедушка, здесь, где на пустом крючке должен висеть твой тубус с

чертежами, где в телефоне звучит твой голос, куда звонят твои друзья и рассказывают мне вещи, которых я не могу понять, – здесь вовсе не классно.

Скрип, скрип.

– «Это тут Ян-Эрик, шустрит с поленьями...»

В животе бурно и горячо, свирепо и мощно вскипает нечто, сжигая страх и ожесточение, развязывая руки. Так ты говоришь, это Ян-Эрик? Вранье! Говоришь, вы уже на даче? Ложь! Ты меня любишь? Сволочь ты. Я в бешенстве удаляю сообщение: пошло к черту, не хочу его видеть, не хочу его знать – как будто я могу вместе с ним удалить и память о нем, как будто проблема исчезнет, потому что оно исчезло...

Убираю куриный салат в холодильник. Выключаю фильм, выключаю телевизор. Подношу бутылку к губам и допиваю остатки вина прямо из горлышка.

* * *

Лежу в спальне, завернувшись в одеяло Сигурда. Перед тем как заснуть, когда комната начинает кружиться вокруг меня, думаю: зря я, наверное, стерла это сообщение. Можно было послушать его еще раз...

* * *

Вдох, выдох. Побарахтавшись в постели, я просыпаюсь с подушкой Сигурда на голове. Что это было? Какой-то звук? Прислушиваюсь: тишина.

А вдруг он звонил? Экран телефона темен. Времени 3.46.

Место Сигурда пусто, постель с его стороны холодная.

– Сигурд? – вполголоса зову я, потом еще раз. Встаю, открываю дверь, выкрикиваю его имя в сторону лестницы, ведущей к гостиной и кухне. – Сигурд?

Был же какой-то звук. От которого я так внезапно проснулась... Но теперь ничего. Снова ложусь.

* * *

Рядом со мной на диване без умолку триндит студентка-историчка. Повернула ко мне лицо и топит меня своими словами, брызжет, фонтанирует ими, заливает меня ими, они так и плещутся у моих ушей. Я оглядываюсь на дверь веранды – она открыта; на веранде моя подруга Ронья разговаривает с парнем, который ей нравится. Это она меня сюда затащила. Мы сидели в своей съемной квартирке и пили самбуку из дешевых коктейльных бокалов, купленных ею летом для меня в Перу, они украшены изображениями религиозных символов. Когда я их распаковала, мы хохотали до слез, и Ронья сказала: если я первая допью, мы пойдем на вечеринку, где должен быть Тот Самый, я тебе рассказывала, а если ты первая, то поедем к этой твоей подруге на Гюльденприс, как собирались. Ронья пила быстрее, и вот пожалуйста...

Когда я села на диван, студентка-историчка спросила:

– А ты чем занимаешься?

– Учусь на психфаке, – сказала я.

А она:

– Серьезно?

А я:

– Да.

Я сразу поняла, к чему это. Обернулась в поисках Роньи, но она уже вышла на веранду.

Историчка сказала:

– Может быть, тогда ты мне посоветуешь что-нибудь. Понимаешь, папа снова женился – мои родители развелись, когда мне было десять лет, – а его новая жена... если одним словом, она просто стерва.

И далее в том же духе. Я оглядываюсь по сторонам в поисках знакомого лица. Вечеринку устроил друг потенциального парня Роньи, студент-архитектор. Он сидит на кухне; я видела, когда убирала пиво в холодильник, что он разглагольствует перед девушкой, у которой пирсинг по всему лицу, про то, как он полностью переосмыслил концепт кухни. На диване напротив нас увлеченно беседуют три девушки, явно подруги: одна рукой обняла вторую за плечи; третья, когда говорит, похлопывает первую ладонью по бедру. Свидетельство близких отношений, в которые я не посвящена. Я не могу встрять в их разговор. Еще у обеденного стола несколько подгулявших парней хрустят солеными крендельками, и один стоит отдельно, прислонившись к дверной раме.

Он мне и нужен. Он один. Непохоже, чтобы его это беспокоило, но, может, это просто поза. Смотрит, прищурясь, прямо перед собой, вроде бы в задумчивости. В руке бутылка с пивом, этикетка отклеилась. Руки испачканы в краске, но они изящные, в меру неровные, какими и должны быть руки. Ногти обкусаны под корень.

Я вижу его, с обкусанными ногтями, бархатными глазами, чуть встрепанными волосами, но главное, что я вижу: он один. Он не выглядит одиноким, но он один, и я знаю, знаю, что он хочет с кем-нибудь познакомиться, с кем-нибудь занятым и неглупым, и достаточно симпатичным... с кем-нибудь вроде меня.

– Извини, – отвечаю я студентке истфака и встаю.

Подхожу к нему.

– Привет, – говорю, – это ты?

Обвиваю его шею руками и шепчу ему прямо в маленькое круглое ухо: «Притворись, будто знаешь меня».

– Привет, – отвечает он.

Я смотрю на него. Под левым глазом у него родинка; когда он улыбается, она растягивается.

- Давненько не виделись, - говорю, - с того самого дня в Берлине.

- Да, Берлин! - отзывается он. - Это сколько ж лет прошло...

- А ты поехал во Францию, как собирался?

- Нет. - Он улыбается шире, родинка еще больше растягивается, становится тоньше, но длиннее. - В конце концов поехал в Австралию. Учился два года в школе панд. Выучился на пандолога.

Я смеюсь. Хорошо, что он мне подыгрывает. Но затеяла это я. Я остроумнее.

- Да что ты говоришь... А моя панда как раз заболела.

- А что с ней такое?

- Куксится что-то. Кашляет и хрипит. Можешь помочь?

- Боюсь, что нет, - говорит он, - я не подхалтуриваю в области медицины панд. Я преподаю.

Мы широко улыбаемся друг другу. Ну всё, достаточно. Он оглядывается по сторонам, склоняет голову ко мне и говорит, понизив голос:

- А зачем мы притворяемся, что знаем друг друга?

- Хочу отделаться вон от той, на диване.

Он тянет голову, чтобы разглядеть ее, и я вижу его затылок, сильную, здоровую жилку на нем, и меня посещает мысль, что жилистые мужчины мне нравятся.

- На вид она ростом метр шестьдесят, весит пятьдесят кило, - говорит он. - Думаю, ты ее одолеешь.

Ишь как разошелся, думаю я, хочет показать себя; и вообще некрасиво делать замечания о весе, хотя я действительно выше ее почти на двадцать сантиметров.

– А тебя, наверное, зовут Харальд...

– Мимо.

– Ты уверен? А на вид настоящий Харальд... Ну, не важно, Харальд; я от этой вечеринки ожидала большего. Что ты скажешь, если я предложу тебе пойти в кафешку возле Бергенс Тиденде, съесть по гамбургеру?

– Идет, – говорит он. – Только зови меня Сигурдом. У меня брат Харальд.

...Потому что он стоял один. Потому что такие парни, как он, на вечеринках стоят и высматривают таких девушек, как я. Потому что мне было двадцать пять и я выпила. Потому что на веранде моя подруга болтала с парнем. Потому что и она, и другие мои тогдашние подруги вселяли в меня такое ощущение уверенности в себе, что мне было без разницы, скажет ли он «да» или «нет».

Суббота, 7 марта: разыскивается

Меня будит звонок в дверь. Звук у звонка старого Торпа пронзителен, как воздушная тревога; как раз такой нужен, если б коммунистам приспичило звонить людям в двери. Мне снилось что-то мельтешащее, тревожное; вроде бы я плыла, и важно было не забыть сделать что-то. Звонок в дверь. Резкие, настойчивые звуки возвращают меня к действительности. Я смотрю вокруг. Его половина кровати пуста.

Но кто-то звонит в дверь, и кто же это еще может быть? Накидываю на плечи халат, запахиваю его, вылетаю в коридор и бросаюсь вниз по лестнице, хватаясь за перила, чтобы не поскользнуться на кусках картона, положенных поверх половиц, с которых мы содрали облезлое покрытие. Колени задираю как можно выше, чтобы не запнуться об отходящие планки ступенек.

Вернулся! Сейчас все объяснит. Окажется, что мы просто друг друга не поняли, да и не все ли равно...

Стремглав проскакиваю последний пролет на нижний этаж, где у нас входная дверь, распаиваю ее, ожидая увидеть Сигурда и броситься ему на шею.

На крыльце стоит Юлия.

– Как дела? – спрашивает она.

Я остолбенело смотрю на нее. Что она здесь делает? Я еще ничего не ответила, а она уже шагает за порог и обвивает меня руками.

– Хорошо, – автоматически, без уверенности отвечаю я: еще не успела осознать как.

Я всю ночь крутилась в постели, просыпалась, проверяла телефон, на который никто не звонил, мучилась сомнениями, засыпала, видела сны, просыпалась. И вот теперь передо мной стоит Юлия, положила ладонь на рукав моего халата, готовится утешать меня... Мы не слишком хорошо знаем друг друга, хотя они с Томасом вместе столько же времени, сколько я знаю Сигурда. Мне приходит в голову, что я не проверяла телефон с тех пор, как проснулась. Тогда было без четверти четыре.

Не сказав ни слова, разворачиваюсь, взбегаю по лестнице на первый этаж, где у нас гостиная и кухня, дальше прямо на второй в спальню, лихорадочно роюсь на тумбочке в поисках телефона, опрокидываю стакан с водой, отбрасываю в сторону книгу. Потом роюсь в постели, встаю коленями на матрас и запускаю руки под его одеяло, еще теплое, но это всего лишь мое тепло, – и наконец нащупываю плоский и гладкий прямоугольник телефона, спрятавшийся между нашими подушками.

На нем два сообщения. Одно от Томаса, отправлено сегодня в 7.15 утра: Не появлялся. Собираем вещи и возвращаемся в город. Созвонимся.

Второе от Юлии, отправлено в 7.38: Привет, Сара. Мне Томас рассказал, что случилось. Я зайду попозже, не хочу тебя будить. Обнимаю, Юлия.

От него ничего.

Но Юлия, очевидно, не в состоянии больше ждать, ведь сейчас 8.23, и она уже у меня дома. Я слышу ее шаги: она поднялась в гостиную, зовет меня, неуверенно, будто сомневается, здесь ли я еще. Дыша все чаще – неглубокий вдох и тут же выдох, – я жму на имя Сигурда в списке своих контактов и прикладываю телефон к уху: ну ответь, ответь же... Полная тишина.

– Сара, ты где? – окликает Юлия снизу.

В трубке потрескивание. Затем дружелюбный женский голос сообщает мне, что телефон абонента, номер которого я набираю, выключен.

Это действует на меня убийственно. Я без сил валюсь на бок, сворачиваюсь комком. Собственно, нет разницы по сравнению со вчерашним, когда телефон звонил, но Сигурд не брал трубку. Естественно, его аппарат постепенно разрядился. Но вчера казалось, что между нами сохраняется хоть какая-то связь. Я звонила – и в его телефоне, где бы он ни был, раздавались гудки. Теперь гудков не слышно. Эта мелкая техническая разница – заряженный телефон, разрядившийся телефон – сражает меня. Я лежу на постели, свернувшись комочком, шепча про себя: «Сигурд, Сигурд, Сигурд...» – и слышу, как по лестнице поднимается на второй этаж Юлия.

Она еще ничего не сказала, а я уже слышу, что она стоит у меня за спиной. Иногда бывает, что чувствуешь – на тебя смотрят; неприятное и необъяснимое ощущение, что за тобой наблюдают. Вот я лежу в халате, сжимая в руках телефон, прижавшись лбом к защищающему экран стеклу; ноге больно – наверное, я споткнулась об отступающую дощечку на лестнице или наступила на стружку или щепку. Вот я лежу в нашей неубранной, недоделанной спальне, где местами содраны обои; над кроватью тяжело повис воздух, использованный за ночь, возможно, с примесью алкоголя из-за опустошенной мной бутылки вина. Вот Юлия, стоит тут и смотрит на меня.

– Сара, – говорит она; ее голос звучит немного неуверенно. – С тобой всё в порядке?

Я не отвечаю. Гладкое стекло телефона холодит лоб. Ногу жжет – наверное, все-таки поранилась. Я хочу, чтобы она ушла.

Но она не уходит. Наоборот, переступает порог моей спальни и становится у самой кровати, обе руки кладет мне на открытую халатом спину и говорит:

- Ну перестань, не надо тут лежать; идем вниз, сварим кофейку.

Она трогает меня за плечо – похоже, собирается уцепиться и на самом деле вытащить меня из постели, – и я чувствую при этом, как изнутри у меня, как из горячего источника, поднимается волна, природной силой выталкивается из живота, расходится по спине, рукам, ногам, по всему телу. Что она, на хрен, себе вообразила?

Отшатнувшись, я стряхиваю с плеча ее руку; я могла бы ударить ее, так во мне все кипит. Только усилием воли сдерживаюсь, чтобы не залепить ей. Надо же, не понимает, распахнула свои невинные оленьи глаза, носик пуговкой, подбородочек кругленький, все личико такое мимимишное – челочка, хвостик; тоже мне – старшеклассница, играющая в добрую самаритянку, поспешила мне на помощь... Какая же она самодовольная, думаю я, смеет мне указывать, мол, не надо мне тут лежать... Милейшая зауряднейшая Юлия все уладит, соберет меня в кучку. Наверное, всю дорогу сюда проигрывала в уме, что будет делать. И вот застыла в изумлении и напрашивается на затрещину... Мне удастся удержаться, только физически отпрянув от нее.

Это наша спальня. Здесь живет Сигурд, здесь живу я. Мы здесь жили, любили, ссорились, спали. Вчера утром он ушел отсюда, с тех пор тут только я, и вот теперь она ввалилась сюда, в нашу святая святых... Да кто она, на хрен, такая?

Когда я познакомилась с ней на гриль-вечеринке во дворе их дома в Наделение, она восторженно воскликнула: «Я уверена, мы станем подружками!» Не вышло. Уже тогда мне претило ожидание того, что раз мы влюбились в двух приятелей, то по логике вещей должны подружиться – мало того, стать близкими, закадычными подругами... На ней, улыбчивой и глуповатой, были сережки в форме сердечек и белая кружевная блузка. Я не нашла ничего, что могло бы нас связывать.

Прошло почти четыре года. Сигурд, бывало, ворчал по этому поводу. «Чем тебе не нравится Юлия, – говорил он, – попробуй узнать ее получше...» Я могла бы, но, с другой стороны, может, я поступала благоразумно...

Запахиваю халат и вперяю в нее взгляд. Во мне все клокочет: из пор, из глаз, изо рта исходит жар, я это чувствую, я сейчас невменяема.

– Уходи, – шиплю я.

– Но...

– Уходи.

Ее лицо сморщивается, будто я на самом деле ее ударила. Юлия делает шаг к двери, собираясь уйти, медлит, оборачивается ко мне.

– Я просто хотела тебя поддержать, – с трудом выговаривает она, и в ее голосе мешаются плач, ржавчина и острые камни, – хотя ты плохо ко мне относилась. Я просто хотела помочь.

Она спешит удалиться. Я слышу ее шаги на лестнице, резкие, торопливые. Сижусь, сжимая в руках мертвую гладкую вещь – телефон. Сигурд, Сигурд, где ты?

Хлопает дверь. Я пытаюсь вдохнуть глубоко, животом. Суббота, и я совсем одна.

* * *

– Управление полиции Осло, – говорит женский голос в трубке.

– Здравствуйте; я вот, – говорю, – я звоню вам заявить о пропаже человека... ну, мужчины, моего мужа. Да. Так, значит. Он ушел вчера рано утром, и с тех пор от него нет вестей... или с половины десятого, я не знаю точно на самом деле. Он звонил мне чуть позже половины десятого. А потом – всё. Он должен был к пяти часам приехать на дачу, вот, но он туда не приехал.

– Понятно, – говорит дама. – Дело только в том, что обычно мы объявляем людей в розыск, только если прошло как минимум двадцать четыре часа.

– А, вот как, – мямлю я; я так далеко не загадывала, розыск там или что еще...

– Речь о взрослом человеке?

– Да, это мой муж, значит; ему тридцать два, вот.

– Понятно. Вы, конечно, можете приехать сюда и подать заявление, но мы всё равно сможем подключиться к этому делу только по прошествии двадцати четырех часов.

– Да, конечно.

Не знаю, что еще сказать. Двадцать четыре часа. Пропал, объявлен в розыск.

– В огромном большинстве случаев пропавшие отыскиваются в течение нескольких часов, – говорит дама, вроде бы уже дружелюбнее. – Как правило, оказывается, что люди не поняли друг друга, договариваясь, или в памяти у них что-то неверно отложилось...

Я покашливаю.

– Он оставил сообщение на моем автоответчике. Сказал, что он уже вместе со своими друзьями. А они говорят, что его там не было.

– М-м-м, – говорит она. – Ну что же, как я и говорила, так часто бывает, что люди друг друга неправильно поняли.

Компактная рубленая фраза: он уже вместе со своими друзьями. Конечно, это звучит как недоразумение.

– Да, понимаю. – Надо объясниться четче. – Но, видите ли, он сказал, что уже там, а они говорят, что его там не было. Значит, тогда, ну, или он говорит неправду, или они.

– Да-да, – говорит женщина; слышно, что она воспринимает меня как туповатую бабенку, жертву то ли шуток, то ли похода налево, слишком глупую, чтобы до нее дошло. – Да, в этом не так просто разобраться, но в любом случае, когда речь идет о взрослом человеке и ничего чрезвычайного не произошло, мы ничего не предпринимаем, пока не пройдет двадцать четыре часа. Так что вам лучше

перезвонить попозже. Если, конечно, за это время он не объявится сам.

– Ну хорошо.

– Большинство находятся сами. Я вам говорила.

Кладу трубку. Ничего чрезвычайного. Это что же должно случиться? Я так и сижу в халате на постели.

* * *

Душ в какой-то степени приводит меня в чувство. Потом я заклеиваю пластырем большой палец на ноге. Одеваясь, думаю: а она ведь права, эта женщина. Большинство находятся сами. У полиции есть опыт в подобных делах. Они знают, о чем говорят. Мне надо успокоиться. Уж я-то, так успешно разруливавшая чрезвычайные ситуации на работе – оказать первую помощь, успокоить разбушевавшегося ребенка, отвезти в больницу на такси суицидального подростка, – я умею сохранять присутствие духа. Это одна из моих сильных сторон.

Я позволила себе распуститься. Ведь Ян-Эрик неустойчив по натуре, высмеивает всё и вся, для него нет ничего святого; ведь это, собственно, проявление неуверенности в себе? Из-за этой неуверенности он куксится при малейшем дуновении ветерка... Томас; ну ладно, Томас – разумный человек, но Ян-Эрик и его мог сбить с толку. Или Юлия. Да, конечно, человек, который мог жениться на ней, податлив внешним воздействиям.

Но я-то сильная. Должна была держать себя в руках. Может, подействовала встреча с Трюгве, может, бутылка вина... Конечно, странная эта история с сообщением на автоответчике, но ей наверняка найдется объяснение. Надо только расслабиться. Выждать, пока все не устроится само собой. Сигурд найдется, всё разъяснится...

Нехорошо, что я выставила Юлию. Вышло грубо. Не совладала с эмоциями, конечно; я же еще плохо соображала, только проснулась, накануне выпила... Да что там, из песни слова не выкинешь: вчера я была в подпитии, вот и вышла из себя. Она застигла меня тепленькой. В прямом смысле слова. Я вспылила. Я по

натуре скрытна, и мы с ней не близки. Надо послать ей эсэмэску, извиниться...

Делаю глубокий долгий вдох. Да. Уже лучше. Чувствую только легкое беспокойство, так, тяжесть в животе. В остальном всё нормально. Расслабиться. Сегодня суббота. Займусь тем, чем и собиралась.

* * *

На первом этаже останавливаюсь. Я собиралась пойти сварить себе кофе и вдруг останавливаюсь. Осматриваюсь. Странная вещь...

Не сразу поймешь, что именно странно. Я хорошо помню все, что делала и чего не делала вчера днем, но вечер запечатлелся в памяти отрывочно. Виновата бутылка вина, да еще история с Сигурдом... Мысли разбегались. А мне, чтобы запомнить что-нибудь, необходимо сосредоточиться.

Нет, все-таки странно.

Вот: на плите стоит ковшик. Я оставила его там вчера, вскипятив воды для чая. Он пустой, даже мытый. С длинной ручкой. У нас дома было принято ставить кастрюльки и сковородки ручкой внутрь от края плиты. Мама за этим очень следила. За ручку могут схватиться маленькие дети, повторяла она. Когда мама умерла, мне было семь лет, кастрюли меня мало заботили, но я помню, как Анника говорила, что кастрюлю нужно ставить вот так – как говорила мама. Ручкой внутрь. Я всегда так делаю, Анника и папа тоже. Но сейчас ковшик стоит так, что кончик ручки выходит за край плиты. Если б у нас был ребенок, он мог бы схватиться за нее. Я бы ни за что не оставила ковшик так.

Или оставила бы? Это я в смысле неужели у меня вчера так помутилось в голове от вина, от того сообщения, что я не соображала, что делаю? Я помню чашку. Помню, что одновременно думала о Сигурде, о его вранье, была убеждена, что он наврал. Но зачем ему было врать? У него шашни с другой? С фру Аткинсон, например? Он вовлечен в какие-то темные делишки, о которых мне неизвестно? Или решил убраться подальше, потому что я пристаю к нему с ремонтом? Вот о чем я думала... Руки машинально заваривают чашку чая. Я лезу в мусорное ведро. Использованный чайный пакетик там. Я смотрю на кастрюлю. Меня переклинивает от одного ее вида: ручка выступает за край, так и тянет

развернуть ковшик. Могла ли я так его поставить? Могли ли у меня так перекрутиться мозги?

А может, это Юлия? Я выдыхаю; вспоминаю, что, когда я лежала на постели, прижав ко лбу телефон, было слышно, как она бродит по кухне, зовет меня... Вот, значит, как, Юлия; ты шпионить приходила. Сунула нос в ковшик. Может, и в холодильник влезла? Не удержалась...

И опять я завелась от какой-то ерунды... Конечно, я выбита из колеи. Надо помнить о том, что сказала дама из полиции. Большинство сами возвращаются домой.

Пока сижу с чашкой кофе и обзираю гостиную, вдруг осознаю, что еще что-то не так. Не знаю, что именно, в чем состоит изменение, но что-то выглядит иначе. Тут тоже Юлия шастала?

Тут я вспоминаю, что проснулась ночью. Позвала его по имени. Он что, был тогда в доме? Бродил по комнатам, а ко мне не поднялся?

Меня пробивает дрожь. Нет, я отбрасываю эту мысль. Это слишком невероятно. Это все Юлия, конечно же, Юлия; искала, о чем можно будет растрепать всему свету... Какая я стала вспыльчивая, нервы совсем никуда!

* * *

Вот сейчас подруга была бы кстати. Когда я четыре года назад познакомилась с Сигурдом, их у меня было немало. Ронья самая близкая, но были и другие: Бенедикте, Ида, Эва-Лизе...

Ронья, Бенедикте и я вместе снимали в Бергене жилье – выдавшую виды квартиру на улице Хоконсгатен, рядом с кино. Но позже мы не сумели сохранить тесные отношения. Ронья разъезжает по миру, нигде подолгу не задерживаясь. Время от времени публикует статьи в газетах, берется за разные подработки, едет дальше; за ней трудно уследить. На мои электронные письма она отвечает через три-четыре недели. Оказываясь время от времени здесь, звонит мне, и мы идем куда-нибудь посидеть, выпить пива; нам весело вместе, мы много смеемся, но я не успеваю посвятить ее во все свои дела, как бывало в

студенческие времена. Ида вышла замуж и переехала в Ставангер. И она, и ее муж работают на износ в нефтепереработке, а когда берут отпуск, уходят покорять горные вершины. У Бенедикте годовалые двойняшки. Наши телефонные разговоры заглушаются их воплями и криками. Эва-Лизе живет в Тромсё, преподает в университете. Ни она, ни я не любим общаться по телефону. Конечно, время от времени мы все равно созваниваемся. В общем-то, мне не на что жаловаться.

Но мы были так близки... Я могла говорить с ними о чем угодно. Под этим я подразумеваю важные темы, но, что еще важнее, и неважные темы тоже. Незначительные, обыденные вещи. «А знаешь, что я сегодня видела в автобусе?» – такие вещи; или: «А я тебе рассказывала про одного парня у нас на работе?» Когда твой муж несколько часов подряд не отвечает на телефонные звонки, хочется поговорить с подругами. В разговоре с ними не нужно напрягаться. С такими людьми разговор клеится сам собой, им можно сказать всё, что пришло в голову. Помолчать, если хочешь. Они могли бы отвлечь меня от мрачных мыслей. Но не могу же я ни с того ни с сего позвонить Эве-Лизе в субботу и спросить, как у нее прошел вчерашний рабочий день. Придется сначала перебирать массу других вещей, произошедших со времени последнего разговора. А мне требуется отвлечься именно от этого, от происходящего сейчас, от кричащего отсутствия Сигурда в доме...

* * *

Мне приходит в голову позвонить Маргрете. Может быть, Сигурд просто поехал к матери... Я уже слышу в голове, как он просит прощения, объясняя: понимаешь, телефон сел, а я забыл ключи, не стал тебя будить и поехал к маме. Хотя что значит «просит прощения»? В качестве просьбы о прощении сгодится объяснение.

Пока в трубке слышатся гудки, я думаю, что ей сказать. Звоню, дергаю ее... С другой стороны, она женщина чрезвычайно рассудительная, из тех, кто фыркает, когда люди жалуются на напряжение и нервы. Большинству моих пациентов она дала бы совет взять себя в руки, прекратить искать во всем тайный смысл, наладить сон и питание, уделять больше внимания учебе, навести порядок в своей комнате – и всё образуется. Впрочем, слово «рассудительная», наверное, не вполне подходит. Маргрете многого не понимает...

В трубке гудки, гудки, гудки; ответа нет.

* * *

Не могу больше сидеть дома; просто прочь отсюда. Машину взял Сигурд, поэтому я иду к метро и еду в центр.

Сегодня выглянуло солнце, бледное и холодное. Снег почти весь растаял. Чем ближе к центру, тем меньше снега. В вагоне сидят девочки-подростки, едут в город пройтись по магазинам.

Я же могу заглянуть к папе. Я давно не была у него. Навестить его надо бы. Но не могу себя заставить. Представляю: мы с папой сядем у камина в его кабинете, попьем чайку, поговорим. И мне придется рассказывать о чем-нибудь, желательно о прочитанной книге, которую можно обсудить; и лучше о романе, а не об актуальной публицистике. Чтобы сказать ему про это, про Сигурда, из-за чего меня всю трясет, пришлось бы подыскивать слова, способ преподнести это как поддающуюся решению проблему. Иначе лучше об этом не заикаться. Не знаю, может, стоило бы все-таки поехать к папе... Просто побывать у него. С папой хорошо то, что его внимания хватает только на главные события в моей жизни, а так особой близости, откровений он не ожидает. Я могу приехать к нему не одна, и он не будет приставать с вопросами. Но это не совсем то, что мне нужно сейчас, когда я выбита из колеи. А еще ведь, прежде чем ехать, нужно позвонить, узнать, один ли он, или дом полон студентов, которые поклоняются ему, как гуру... Нет, дурацкая идея; в такой день к папе ехать не стоит.

Я могу поехать к Аннике. Вот чего мне хочется. Мы договаривались, что я могу заехать к ним завтра пообедать, но ведь можно же взять и заехать сегодня. Просто заглянуть. Сказать «привет». Сказать, что я подумала, а вдруг они дома...

Нет, это, пожалуй, попахивает полной безнадегой. Так поступаешь, наверное, когда дойдешь до ручки и пуще смерти боишься оказаться в одиночестве. Я барабаню пальцами по сумке; проверить телефон, что ли? Хотя сигнал установлен на максимальную громкость и пропустить вызов вряд ли возможно.

Выхожу из метро на «Майорстюа», вливаюсь в поток спешащих к торговой улице Богстад-вей старшекласниц с мобильными, длинными локонами и сумками. Может, и я себе прикуплю что-нибудь? Да, мы экономим, все заработанное нужно тратить на дом и ни на что другое – но плевать, Сигурд ведь покупает чертежные инструменты для работы; может, мне для моей работы нужны новые брюки. Я захожу в магазин, смотрю на снующих там школьниц: эти брюки офигенно на тебе смотрятся, восемьсот крон, мне мама дала денег, Амалия сказала, что они собираются приехать встретиться с нами. Эти девушки повсюду видят проблемы. Разговаривая, широко распахивают глаза, разевают рты, втягивают в себя воздух жадными глотками, все у них офигенно такое или офигенно сякое, самые обыденные вещи подаются как непреодолимые преграды. Подруг и парней они обсуждают так, будто не знают, что это только начало, что своего теперешнего возлюбленного они года через четыре и не узнают. Но я не собираюсь открывать им на это глаза. Ко мне они приходят, когда запутаются в жизни до крайности; да, они окажутся в моей комнате ожидания, когда все у них пойдет наперекосяк, когда у них разовьются депрессия, страхи, бессонница, ангедония. Прислушаешься к ним в магазине – и кажется, что все у них так просто; но мне-то их тайны знакомы.

Я вяло перебираю одежду, и ничто во мне не шевельнется: ничего из этого не хочу, не пойду в примерочную, нет сил раздеваться, расшнуровывать обувь, снимать куртку. Выхожу из магазина, бреду по улице дальше и думаю, что нет, не могу больше, не в состоянии гулять здесь; что если я наткнусь на кого-нибудь, с кем не хочу разговаривать, что если наткнусь на Юлию?

Я сажусь на трамвай и еду на Нордstrand. Хочу все-таки зайти к Аннике.

Трамвай громыкает вверх по склону, я ладонью молочу себя по ляжке. Времени скоро три. Со времени телефонного сообщения прошло двадцать восемь часов.

* * *

Аника с Хеннингом живут в самом последнем доме на улице, заканчивающейся тупиком. Они такие правильные люди; эта мысль всегда меня посещает, когда я бываю у них. Они живут в правильном доме: он намного меньше, чем наш с Сигурдом, но в нем все удобно устроено. Типовой таунхаус, достаточно новый, достаточно качественный. Там всегда беспорядок, но это из-за того, что в нем живут нормальной жизнью. Живут! У них трое мальчишек в возрасте от двух до

семи. Всегда шумно, всегда потасовки, вечно кто-нибудь споткнется, постоянно приходится на что-нибудь отвлекаться, и кто-нибудь, обычно Анника, говорит: можете хоть на минуту угомониться? Всегда находится дело для каждого. Убрать на место валяющиеся в саду и на дороге перед домом велики, мячи и игрушки. Скосить траву, покрасить стены: всегда есть к чему приложить руки. Оба они много работают; должны бы уже окончательно вымотаться, но они вроде кроликов на батарейках: яростно улыбаясь, беспрестанно бьют лапками. Я как-то сказала Сигурду, что если они вдруг остановятся с мыслью, не пора ли отдохнуть, то, наверное, рухнут на месте от усталости.

Только я сворачиваю в тупик, ведущий к их дому, как тут же вижу Хеннинга – по той простой причине, что он маячит на дереве, у самой верхушки. В руках у него огромный садовый секатор; Хеннинг крутится туда-сюда, сгибается во все стороны. Меня он не видит – слишком поглощен работой. Тут раздается голос Анники:

– Осторожно, Аксель, сейчас ветка упадет, стой, Аксель, нет, иди сюда, сюда, кому говорят, Хеннинг, подожди, он прямо под деревом, Хеннинг!

Увидев ее, я останавливаюсь. Стою смотрю на них. На спину Хеннинга там, наверху. На свою сестру, в заношенных джинсах и клетчатой рубашке навывпуск, галопом несущуюся за вопящим от восторга двухлеткой: какой восторг, маме его не догнать... Двух других мальчиков я не вижу, но и без них эта сцена из жизни семьи Анники показательная: каждую секунду приходится предотвращать несчастья, потенциально угрожающие жизни.

Аника хватает малыша на руки, прижимает к груди. Тот возмущенно вопит: он хочет бегать, а мама ему мешает. Она кладет его себе на плечо, он сопротивляется: крутится, изворачивается, сучит ногами. Сестра, закинув голову, кричит мужу:

– Поймала, держу!

Повернув к дому, она замечает меня. Сначала просто останавливается, не сводя с меня глаз, и мне в голову приходит мысль, что она же действительно до крайности замоталась. Во время учебы Анника два года прожила в легендарной студенческой общаге на Фреденсборге, куда мог зайти любой: гости попивали кофе и вино, спорили об этике и философии, употребляя словечки вроде

«метауровень». Теперь она смотрит на меня, и я понимаю, что нужно было позвонить и предупредить их: кожа ее лица в момент обвисает, она кажется старчески изнуренной. Но берет себя в руки – кожа упруго расправляется, и она устало, но дружелюбно улыбается. Сын продолжает барахтаться у нее на плече.

– Кто к нам пришел! Сара, привет!

* * *

Вслед за Анникой, несущей вырывающегося, дрыгающего руками и ногами малыша, я прохожу на кухню. Прошу прощения за неожиданное вторжение, а она уверяет, что очень рада, но мы обе знаем, что это не так. Я уже искренне жалею, что пришла, но теперь уже слишком поздно. Разобравшись с ребенком, Анника приглаживает волосы руками, и на ее лице читается, что ей неудобно из-за того, что на самом деле ей вовсе не так приятно, как она говорит.

– Хочешь, чайку попьем, – предлагает она после обмена вежливыми фразами. Я соглашаюсь и предлагаю заварить чай.

– Пойду тогда гляну, что делают Тео и Юаким, – говорит мне Анника. – Я мигом.

Она выходит из кухни, скрипят ступеньки; потом я слышу, как она зовет мальчиков.

Еще до переезда в Нурберг мы с Сигурдом примерно с полгода пытались сделать ребенка. В то время визиты к Аннике с Хеннингом оказывали на нас превентивное воздействие. Сидя в метро по пути домой, мы переглядывались и спрашивали друг друга: «Как думаешь, это всегда так? Чтобы язык на плече? Может, обойдемся одним?»

Я у них на кухне, смотрю по сторонам. На не убранном после завтрака столе пластиковые и фарфоровые тарелки, чашки с носиком и кофейные чашки. Под магнитами на дверце холодильника уйма бумажек – кажется, холодильник вот-вот присядет под их тяжестью: планы на неделю, расписания занятий, списки покупок и памятки из детского сада о сборе вторсырья, о том, во что одевать ребенка в сад, и еще листовка с рекомендацией вести здоровый образ жизни и медитировать по двадцать минут ежедневно. Кое-где между бумажками

попадаются фото. Десятилетней давности снимок Анники и Хеннинга, они тогда только познакомились. Она улыбается ему, обнимая его за плечи. Он смотрит в камеру, обвив рукой ее талию. Еще там фотографии мальчишек, по отдельности и всех вместе, детское фото нас с Анникой – мне на нем лет пять, ей около десяти – и фотография, на которой мы с Сигурдом и Тео, та самая, с апельсином. Как у меня на телефоне. Меня прошибает волна беспокойства. Снимок сделан в Линдеруде, мы катались там как-то в воскресенье на лыжах. Тому уж два года, с тех пор мы вместе на лыжах не ходили, но в тот день отлично отдохнули. Новая волна беспокойства. Но я знаю, что не стоит начинать волноваться раньше пяти часов: только к тому времени пройдет двадцать четыре часа с его исчезновения. И до этого он наверняка найдется. В полиции знают, что говорят.

В этот момент звонит Маргрете. От звонка я вздрагиваю – Сигурд? Звонит развеять этот кошмар, мол, всё в порядке и он дома; какая-то доля секунды, пока я отчаянно надеюсь, что всё разрешилось... Но нет.

– Сара, – потрескивает в трубке, – это Маргрете.

А то я сама не вижу! Но она всегда так разговаривает. Мне сразу представляются далекие времена, которых я не застала, но о которых читала в книгах или видела по телевизору: тогда разъезжали на спортивных автомобилях, носили шелковые шарфы, перманент и губную помаду, а перед ужином пили в библиотеке аперитив.

– Здравствуйте, – отвечаю я.

Ее воспитанность делает меня косноязычной, ее стиль – неуклюжей; таков наш модус взаимодействия.

– Я на Ханкё у подруги, уехала на выходные, – сообщает она мне. – Мы весь день возились в саду, я не услышала твоего звонка.

Как всегда, кажется, что Маргрете только и ждет, что я уцеплюсь за возможность рассказать ей о том, как прошел мой день; мои занятия должны оказаться похвальными. Она как бы ожидает, что все должны быть такими, как она, и не теряет надежды на это, или того хуже: не замечает, что это не так. Никак не может смириться с тем, что я такая неловкая.

А тут еще в комнату входит Анника: капельки пота на лбу, тащит на руках младшенького...

- Ну, не важно, - говорит Маргрете, поскольку я молчу. - Ты мне звонила; что ты хотела, милочка?

Она называет меня милочкой. Больше меня никто так не зовет - ни отец, ни сестра, ни муж. Я откашливаюсь: надо прочистить голосовые связки, надо рассказать ей о случившемся.

- Да вот, хотела просто спросить, - говорю, снова прочищая горло: в нем так першит, будто оно из наждачной бумаги. - Вы с Сигурдом не разговаривали в последние дни?

На другом конце линии становится непривычно тихо.

- Разговаривала ли я с Сигурдом? - спрашивает Маргрете.

- Просто получается, - говорю я, - что он пропал или не то чтобы пропал, но как-то так... Он на выходные собирался на дачу с Томасом и другим своим другом, но не приехал туда. А еще...

Я больно прикусываю язык; знаю, что, конечно же, не надо бы выкладывать это другим, совсем не надо, но раз уж я начала, то пусть, и я продолжаю:

- А еще он позвонил мне и сказал, что он там, с ними, но его там не было. И мы тогда подумали, мы с Томасом, и там еще был Ян-Эрик... Ну, в общем, они втроем собирались на дачу, но не важно; главное, что он туда не приезжал, говорят они. А мне он сказал, что находится там.

- Что ты такое говоришь, Сара, - говорит Маргрете, и голос у нее теперь строгий такой, чуть ли не осуждающий; так звучит, должно быть, голос у высокоморальных матерей, которых дети пытаются впутать в свои мелкие козни.

Языку больно, во рту влажно и солоно; наверное, до крови прикусила.

- Он не приезжал на дачу, - говорю я. - И домой не вернулся.

На другом конце провода молчание. Я сижу тихо-тихо. И вокруг все тихо; слышно только, как возится ребенок на руках у Анники, но и они помалкивают. Просто невероятно, чтобы в этом доме стояла такая тишина; здесь обычно и собственные мысли-то не услышишь. Но сейчас сестра стоит и совершенно откровенно слушает наш с Маргрете разговор; и я знаю, что теперь мне предстоит объясняться еще и с Анникой.

- А на работу ему ты звонила? - спрашивает Маргрете.

- Я ему на мобильный звонила, - говорю, - он им пользуется.

- А его коллегам ты не звонила?

- Нет.

- Так я и думала.

Маргрете выдыхает, быстро и энергично: вот она и решила мою проблему.

- Так позвони им, - говорит, - или съезди туда. Он наверняка на работе. Сигурд такой ответственный человек, работает без усталости, да ты и сама знаешь...

- Да, - растерянно говорю я, - к тому же большинство пропавших сами находятся в течение двадцати четырех часов.

Маргрете не достаивает меня ответом, и я осознаю, что такой поворот темы ей не нравится.

- Позвони мне, когда свяжешься с ним, - говорит она еще более скупой, чем обычно. - Ну пока, жду звонка.

Я завершаю разговор и, подняв голову, вижу, что рядом стоит Анника с сыном на руках и оба они не сводят с меня глаз.

- Сигурд пропал? - спрашивает Анника, и в ее голосе я слышу тот страх, который изо всех сил пыталась закамуфлировать в своем.

* * *

Я сижу на пассажирском сиденье, а Анника вырывает из тупика на дорогу пошире. В запутанном конгломерате путей, проложенных через их жилой комплекс, разобраться постороннему нет ни малейшего шанса. Мы едем в полицию. Когда я рассказала Аннике о случившемся, она не стала медлить ни секунды. Я старалась подбирать слова так, чтобы подать всю историю как можно менее драматично; повторила слова дамы из полиции, что, мол, большинство находятся; я твержу эту фразу, как мантру. Наверняка все объясняется просто и обыденно.

Поахав, Анника сказала:

– Выброси из головы чушь, что они тебе наговорили, Сара. Поехали, подашь заявление.

– Но она сказала... – начала было я, но не договорила: сама услышала, насколько беспомощно это звучит, насколько послушно я подчиняюсь системе.

– Они так говорят, потому что им можно, – заявила сестра, хватая ключи с кухонной полки, – но если ты заявишь о его пропаже, они будут обязаны открыть дело. Поехали, я с тобой.

Рукой, свободной от ребенка, она сдернула со стула куртку и вышла в сад. Анника впечатляет, когда решит действовать. Теперь каждый ее шаг, каждое движение рук целенаправленны, и я, едва поспевая за ней, ощущаю слабый отзвук того чувства защищенности, которое помнится мне с детства: теперь Анника все уладит. Я стояла на веранде и наблюдала, как она крикнула Хеннингу, все еще сидящему на дереве, что ей с Сарой нужно съездить в полицию, а потом дала мужу логистические указания.

– Ничего не случилось? – спросил сверху Хеннинг. Со своего места я видела только его ноги, но голос слышала ясно и отчетливо.

– Надеюсь, – решительно отрубил Анника.

Когда Хеннинг слез с дерева, младший сын был передан на попечение отцу, и теперь мы с сестрой едем в семейной «Хонде», лавируя по одной, потом по другой улочке.

– С полицией нужно стоять на своем, – говорит Анника. – Они свое дело знают, но им, как и всем, не хватает ресурсов, так что не повредит показать им, что тебя так просто не отфутболишь.

– Понимаю, – говорю я, и это правда: теперь я понимаю это даже слишком хорошо.

Конечно, нужно настоять на своем, показать, насколько серьезно воспринимаешь случившееся, потребовать того же в ответ. Разве не этому меня учило общение по работе практически со всеми госструктурами? Почему с полицией должно быть по-другому?

Аника вырывается на главную дорогу, включает четвертую скорость, а на меня накатывает тяжелая волна самобичевания. Как я могла послушаться женщину, с которой утром разговаривала по телефону? Почему поддалась на ее уговоры? Почему не прислушалась к самой себе, к своей памяти, к собственной логике? Конечно же, никакого иного разумного объяснения нет, кроме того, что Сигурд наврал, что само по себе указывает на абсолютную ненормальность ситуации, и я это нутром чувствовала. Почему я не уперлась, не потребовала немедленно соединить меня с кем-нибудь из начальства? Что если Сигурд в опасности? Что если на самом деле стряслось что-то ужасное? Что если я могла сделать что-нибудь – а вместо этого, чтобы убить время, шлялась по магазинам на Майорстюа? Анника никогда не отправилась бы по магазинам. Она сразу сообразила бы, как быть. Она всегда взваливает все на свои плечи – и вот я снова чувствую себя сестренкой с сопливым носом и ободранной коленкой. С тех пор как умерла мама, а папу нельзя отвлекать от работы на подобную ерунду, пластырем меня заклеивает Анника. И всегда с безжалостной резкостью: почему мне постоянно приходится выручать тебя?

– Анника, – говорю я, – как ты думаешь, я сглупила, да? Что не позвонила?

Аника косится на меня. Мы едем прямой дорогой вдоль фьорда.

– Сара, – говорит она, – это вообще не имеет отношения к делу.

Сестра говорит так, потому что хочет меня утешить, снять вину с моих плеч, но получается только хуже: дело раздувается – да уж, теперь это и вправду дело, и когда мы приедем в управление полиции на Грэнланд, они заведут настоящее дело, с папкой и прочими причиндалами; так я, во всяком случае, думаю. И я уже этим делом распорядиться не смогу. И ничего случившегося уже не могу изменить... Закрываю глаза и мысленно переносюсь в утро пятницы, в нашу спальню: уходя, Сигурд прохладными губами поцеловал меня в лоб. «Ты спи, спи...»

У входа в управление полиции мне приходится отойти за мусорные баки, потому что меня тошнит.

* * *

Ночевать я остаюсь у Анники с Хеннингом; мне дурно от одной мысли о том, чтобы поехать к себе, в пустой дом дедушки Торпа. Мы едим такос и смотрим по телевизору фильм про Джеймса Бонда. Приходит эсэмэска от Маргрете – ответ на отправленное мной сообщение о том, что я заявила ее сына в розыск и если она что-нибудь от него услышит, то должна связаться с полицией. У нее даже сообщения исключительно немногословны: разумеется; спасибо, что предупредила, пишет она, как-то даже язвительно, мне кажется. Перед глазами мелькают кадры фильма, но я даже не пытаюсь понять, в чем там дело: мне не до того. За двадцать минут до конца фильма ухожу в их рабочий кабинет и ложусь. На выдвижной диван, тот самый старый икеевский диван, который стоял в гостиной первой общей квартиры Хеннинга и Анники: на нем был зачат Тео, как мне со смехом поведала Анника. Я закрываю глаза и думаю: две ночи назад мы лежали рядом. Сорок часов назад он, уходя, поцеловал меня в лоб. От него чуть-чуть пахло зубной пастой и кофе. На плече висела сумка. Теперь кажется, что я чуть ли не выдумала это. Я так устала... Как странно. Кажется, проснусь завтра утром, и окажется, что мне это приснилось или померещилось...

* * *

Он приходит к нам каждый вечер. Часто мы уже сидим на диване и смотрим телевизор; поздно, мы кемарим. У него капли росы в волосах, под курткой флисовая кофта и шерстяное белье. От него пахнет холодом, потом и химикатами. Это единственный постоянный мужчина в нашей компании; да, у

Бенедикте есть парень, но они то сходятся, то расстаются. Иногда по пути к нам он заходит в магазин и приносит фрукты, шоколад, попкорн. Опускается на диван рядом со мной и сразу же обнимает меня, притягивает к себе, словно не может как следует расслабиться, пока я не окажусь в его руках. Прижимается губами к моим волосам, и я ощущаю все эти запахи: холода в здании, где он целый день корпит за работой, мерзлого пота, который все-таки прошибает его за это время, и используемых химикатов: лак, клей, краска. Руки запачканы. Иногда, если модель, над которой он колдует, требует столярной обработки, пахнет деревом. Он весь пахнет своей работой.

Я теперь знаю, что когда он обдумывает что-нибудь, то кусает ногти. Я теперь знаю, что его отец умер от рака поджелудочной железы через два месяца после постановки диагноза, а сам он был еще подростком. Я теперь знаю, что перед тем как кончить, он изо всех сил сжимает меня в руках.

* * *

Он зачислен вольнослушателем в архитектурный колледж, но по окончании весеннего семестра вернется в Осло. А мне остается учиться еще полтора года. Мы говорим обо всём: о родителях, тех, кого уже нет с нами, и о живых; о детстве, об учебе, о любимых телевизионных программах. Но не о том, что будет, когда он уедет.

– Полная откровенность – вещь относительная, – говорю я Ронье. – Ведь разве можно, собственно говоря, полностью довериться человеку, если знаешь, что это не навсегда?

– Ничего глупее я от тебя не слышала, – говорит Ронья.

О будущем я стараюсь не думать. Хочу, чтобы у меня остались красивые воспоминания. Прогуливаю утренние лекции и остаюсь валяться в постели с Сигурдом. Просыпаюсь вместе с ним. Еще не проснувшись до конца, мы лениво болтаем, переспрашивая: ты сейчас это сказала или мне приснилось? Лежу с ним рядом, в окнах спальни постепенно светлеет. Слышно, как за дверью мои подруги включают кофемашину, шелестят страницами газет; доносятся их приглушенные голоса. Когда они уходят, мы вместе принимаем душ. В тесной душевой кабинке я прижимаюсь к нему голая, мокрая, меня все смешит; нет, серьезно, говорит он, потри мне спину; мне не дотянуться, здесь так тесно. Пью

кофе, читаю газету, за столом напротив меня сидит он; я думаю, что мы будто муж и жена. Примеряю на себя это чувство, это будущее, но знаю, что нам недолго осталось. Впереди всего несколько недель. Держась за руки, мы идем на пешеходную улицу Торгалменнинген. Погода уже совсем весенняя. У него скоро выпуск. Он уедет, а я останусь; потом встречу другого парня, а все это останется просто воспоминанием.

* * *

За неделю до его отъезда мы ужинаем в подвале ресторанчика «У соседей», и я говорю ему:

– Одна девочка на курс старше меня проходила практику в Осло. Так тоже можно, только тогда надо самой искать место.

Он кладет вилку на стол, смотрит на меня. В этот момент взгляд у него пронзительный, как никогда, глаза широко распахнуты, и он спрашивает:

– Ты это серьезно?

– Да, – говорю я, но внезапно пугаюсь: я не тороплю события? – Да... ну не знаю, если ты не против.

И тут по лицу Сигурда разливается солнечная улыбка – на щеках ямочки, на лбу и в уголках глаз морщинки, – и он говорит:

– Ну просто гора с плеч: а то я неделями хожу и думаю, как мне уговорить ректора оставить меня в Бергене еще на год...

* * *

Тем летом я вернулась в Осло. Мы с Сигурдом сняли квартиру на Пилестреде.

Воскресенье, 8 марта: белый шум

К моему возвращению домой, на Конгле-вейен, уже опускаются сумерки. Анника с Хеннингом снова принялись работать на участке, я играла с мальчиками – рисовала цветными мелками и строила шалаш под столом в гостиной. Мальчики, особенно Тео, ошалели от восторга: не могли поверить, что тетя Сара, обычно с неохотой соглашающаяся поиграть минут десять, теперь битый час сидит на коленках в их шалаше, катает их на закорках и вообще позволяет вить из себя веревки. «А ты можешь приходить каждый день, Сара?» – спрашивает Тео, и на сердце у меня незаслуженно теплеет; закрыв глаза, я жадно впитываю это тепло. Однако нечестно, что оно мне досталось: ведь я включилась в игру единственный раз, и то потому, что не хочу ехать домой.

– Оставайся у нас, – говорит Анника, – поспишь пару ночей на диване.

Но я не могу. Дома меня ждет работа. И моя профессиональная, и другая: быть там, когда он вернется. Включить свет. Ждать. Я знаю.

В доме Анники кипит жизнь, здесь шумно и суматошно, и я с тоской думаю о том, что поеду сейчас домой, в наше недоремонтированное и недоперестроенное жилище, но знаю, что ехать надо. В конце концов набираюсь мужества вылезти из-под стола, обуваюсь и отправляюсь восвояси.

Отпираю дверь: тишина. Отсутствие Сигурда словно засело в стенах. Я стою в прихожей на линолеуме, истертом ногами старого Торпа – по этому полу мать Сигурда в юности прокрадывалась по ночам босиком, – и прислушиваюсь. Что я пытаюсь расслышать? Сигурда?... Какая тишина! Слышатся только звуки, которые не смолкают никогда: колыхание вагонов метро вдалеке, поскрипывание балок старого деревянного дома, прогибающихся под весом жилых комнат. Сигурда не слышать. Надо все-таки крикнуть, позвать его, но я не решаюсь. Стою, как была, в уличной обуви, будто я только на минуту заглянула в этот дом, будто вовсе не живу здесь и не останусь ночевать. Не хочу услышать, как мой голос одиноко и безответно выкрикнет его имя.

Сначала снимаю ботинки. Ставлю их на старую газету, где мы держим обувь. Его обувь тоже там: кроссовки и легкие туфли, которые он достал к весне, такие большие рядом с моими, как корабли для карликов... Я собираюсь с духом.

– Сигурд?

Голос не отдается эхом от стен, я так и знала. Звучит тоненько, еле слышно, стены гасят его; мой зов вряд ли долетел до следующего этажа. И я поднимаюсь туда сама, ступенька за ступенькой, перешагиваю через отставшие половицы, слышу поскрипывание и потрескивание дерева при каждом шаге. В полутьме гостиная кажется огромной. Прежде чем включить свет, я снова называю его имя. Сигурд? Жму на выключатель и вижу пустую комнату.

Не хочу здесь сидеть. Что-то поменялось... не знаю, что. Занавески? Они обычно так висят? Сигурд всегда раздвигает их как можно шире, ему нужен свет; он считает, что занавесок вообще не нужно. Я, что ли, задернула их в пятницу вечером, когда сидела тут одна? Могла ли я, помнящая столь многое так хорошо, задернуть их и забыть об этом? Могла ли Юлия сдвинуть их за те две-три минуты, что оставалась здесь одна? Могла ли Маргрете, единственная, у кого еще есть ключи от дома, вернуться с Ханкё и по пути завернуть сюда? Чтобы поправить занавески?

То же ощущение пронизывает меня в нашей спальне на втором этаже. Здесь это чувствуется менее остро, но в то же время пугает сильнее, потому что здесь мы спим, чужим тут делать нечего. Постель застелена покрывалом. С одного конца оно слегка примято, как если бы кто-то на нем посидел или, может, просто оперся рукой... Может, это была я, когда уходила? Почистила зубы, зашла сюда, надела джинсы и джемпер, передумала, достала другой, положила его на кровать и переоделась... Могли такие вмятины остаться от джемпера? Но еще важнее: я что, теряю рассудок?

Это всё нервы, решаю я, заваривая чашку чаю на кухне. Я подала в полицию заявление об исчезновении мужа; прошло более двух суток с тех пор, как от него пришли последние вести. Была бы собственным терапевтом, именно это я себе и сказала бы. Неудивительно, что я нервничаю. Неудивительно, что мой мозг работает лихорадочнее и сильнее обычного склоняется к параноидальности. Я нахожусь в состоянии боевой готовности. Нельзя забывать, что все приходящие мне сейчас в голову кризисные мысли являются именно таковыми: кризисными. Они не превращаются в истину оттого, что пугают меня. Мне следует разобраться в собственной реакции. Я должна успокоиться. Я должна понимать, что именно сейчас, с учетом моей вполне простительной взбудораженности, я мыслю не так ясно, как хотелось бы. Я не должна прямо сейчас решать загадку с сообщением от Сигурда на автоответчике. Я не должна пытаться выяснить, почему занавески висят не так. Сейчас мне нужно позвонить и заказать пиццу, а потом, прежде чем лечь спать, пару часов посмотреть

телевизор. Завтра мне предстоит работать. Я позвоню коллегам Сигурда. После выходных все будет проще. А может, сегодня вечером в дверях, как и планировал, появится Сигурд, и этот кошмар закончится...

Вот тут-то я и замечаю тубус Сигурда. Он вернулся на место. Висит на своем крючке.

* * *

Расслабляющего вечера с пиццей и телевизором не случилось. В смысле телевизор включен, пицца заказана, но это ничего не меняет. Голоса из ящика, участники реалити-шоу, разглагольствующие о разных стратегиях, и всегда чуть более громкие рекламные голоса, с энтузиазмом расхваливающие стиральные средства и интернет-казино, – это просто белый шум. Мой взгляд направлен на экран телевизора, на мелькающие там кадры, но перед моим мысленным взором вновь и вновь проигрываются сцены совсем другой истории. Сцена 1: пятница, время обеда. Я прослушала сообщение Сигурда на телефоне. Ем свой бутерброд с тунцом. Вижу пустой крючок. Присматриваюсь к нему. Думаю, странное дело. Думаю, он что, взял тубус с собой? Разве он не собирался с утра заехать за Томасом? Следующая сцена, утро субботы. Я снова смотрю на пустой крючок, потом спускаюсь в прихожую, отпираю дверь и выхожу. Я знаю, что было так.

Кто-то побывал в моем доме. Не иначе. И это не Юлия. Это произошло, пока я была у Анники в Нордстранде.

И все же я не могу в это поверить. Апатично сидя перед телевизором, снова и снова анализирую свои рассуждения. А я совсем-совсем уверена, что было так? Может ли это объясняться как-то иначе?

Лучший из моих университетских преподавателей терапии говорил: самое важное, что нужно сделать для страдающих неврозом пациентов, – помочь им увидеть мир таким, какой он есть. Не таким, каким он должен быть, и не таким, каков он сквозь призму их страхов. Не таким, как подсказывают их умозаключения. А таким, какой он есть. Подразумевается: помочь им научиться отличать фантазии, надежды и страхи от действительности. Например, нервной новобрачной, опасющейся, что вышла за неподходящего человека, требуется показать, что терзающие ее сомнения – вовсе не магическое свидетельство сути их отношений. Юному студенту, которого снедает страх перед экзаменами,

требуется показать, что его страхи не говорят ни о его способностях, ни о том, как действительно пройдет экзамен. Истина такова: время от времени ты чувствуешь раздражение по отношению к своему мужу; тебе кажется, что материал, который нужно выучить к экзамену, сложен. Вот и всё. Нереалистично любить своего супруга и восхищаться им каждую минуту каждого дня, прожитого под одной крышей. Не бывает так, что либо усвоишь весь материал по предмету с первого прочтения, либо не поймешь никогда. Мир не так однозначен. Вот каков он. Всё прочее – твои собственные домыслы.

Сигурд пропал. Он солгал. С этим, конечно, не поспоришь. Его исчезнувший тубус, эта серая пластиковая труба, вернулся на место. Вот и всё, что я знаю. Значит ли это, что кто-то побывал здесь, или это мои домыслы? Надо постараться мыслить ясно, не давать воли своему перепуганному мозгу.

Звонок в дверь. Пицца, думаю я, торопясь в прихожую, но в то же время думаю, а вдруг нет, вдруг это он или кто-нибудь, кто что-то знает? В этой мысли надежда, последняя надежда – роскошь, которую я могу пока себе позволить.

Не глядя, я отпираю замок, распахиваю дверь – и все понимаю, увидев мужчину и женщину в полицейской форме.

Оба молоды: женщина – ровесница мне, мужчина на пару лет моложе. Он заметно нервничает. Говорит женщина – очевидно, она его начальница. Может быть, он у нее на стажировке.

– Сара Латхус? – спрашивает она.

– Да, – отвечаю я. Или не так: за меня отвечают мои голосовые связки.

– Так. Дело в том, что я, к сожалению, должна сообщить вам печальную новость, – говорит женщина.

Она облизывает губы языком: один раз, второй. Может быть, тоже нервничает. Могу себе представить, как их в школе полиции учили преподносить тяжелые известия – наверное, целую пару, но вряд ли более 90 минут. Представляю, как она сидит на краешке стула и старательно записывает слова преподавателя. Держитесь серьезно и с достоинством. Не мямлите. Говорите четко и ясно.

– Я из управления полиции Осло, – говорит женщина.

Назовите свое подразделение.

– Дело в том, что сегодня около пяти часов дня был обнаружен труп мужчины, подходящего под описание вашего мужа. Для окончательного установления его личности потребуется несколько дней, но все свидетельствует о том, что найденный мужчина – Сигурд Торп. Он находился в Круксуге, примерно в двух километрах от Клейвстюа.

Она откашливается. Ее коллега смотрит на мое плечо, не хочет встречаться со мной взглядом, или, может быть, ему велено так себя вести.

– Понимаю, как тяжело услышать такое, – говорит женщина. – Соболезную.

* * *

День, когда мы с Сигурдом поженились, выдался пасмурным и холодным, типичным для ранней осени в Осло. Потом мы прогулялись вдоль реки до Турсхова. Я ему сказала: «Теперь ты мой, пока смерть не разлучит нас». Он засмеялся и сказал: «А ты моя».

И сейчас это единственное, что приходит мне в голову. Полицейские смотрят на меня, а я стою и смотрю прямо перед собой. Вижу, как за их машиной паркует свой автомобиль доставщик пиццы, выходит, видит нас и нерешительно останавливается, а у меня в голове только одна мысль: пока смерть не разлучит нас. Недолго он оставался моим...

* * *

– Разверни, – сказал Сигурд.

Я взяла в руки сверток, лежавший на постели, сорвала с него обертку, извлекла из слоев папиросной бумаги маленький пакетик, развернула. В маленькой коробочке лежал кулон на цепочке.

Это было в день моего рождения, в тот год, когда я проходила практику в центре реабилитации тяжелых наркоманов недалеко от Осло, а не в детской поликлинике в Бергене, как планировала изначально. Мы с Сигурдом снимали маленькую и страшно холодную квартиру на Пилестреде, и каждое утро я ехала на трамвае от Бишлета до железнодорожного вокзала, а там садилась на лиллестрёмский поезд; сойдя с него, шла под проливным дождем к похожему на барак зданию центра. В лучшем случае я была своим пациентам абсолютно неинтересна, в худшем они вели себя буйно. Руководил практикой пожилой психолог, которому оставалось два года до пенсии; ему давно уже было на все наплевать. В поезде и потом в трамвае по дороге домой я старалась думать о посторонних вещах, чтобы не расплакаться раньше, чем встану дома под душ, где меня никто не увидит.

- Сигурд, - сказала я, - это обалденно красиво, но ведь, наверное, он не настоящий?

Подвеска была украшена сияющим камешком, маленьким, но всё-таки... Сигурд заулыбался еще шире, на лице проступили ямочки. Я никак не могла понять, как это возможно, но у него, когда он улыбался, ямочки образовывались даже возле глаз.

- У нас же нет денег, - напомнила я ему.

- Не думай об этом, - сказал Сигурд. - Подумай лучше, нравится тебе или нет. Если нет, можно обменять.

- А можно обменять его на оплату счета за электричество? - спросила я, смеясь; смотрела на кулон и понимала, что расстаться с ним не смогу никогда.

Серебряная цепочка, простая подвеска, крохотный бриллиантик. Я плакала в душе - не хотела, чтобы Сигурд заметил следы моих слез, - но он был не дурак.

- С днем рождения, - сказал он. - Дай-ка я надену его на тебя.

Понедельник, 9 марта: под поверхностью

В моем доме полиция. Позвонили в дверь ранним утром, представились с напускной печалью в голосе, испарившейся в ту же секунду, как я впустила их в дом, и принялись за дело. Я сижу на кухне с чашкой кофе. Не успела даже одеться как следует. И душ принять не успела. Никому не звонила. Мне звонили: Маргрете, Анника, но я не брала телефон. Я просто жду.

Полицейские на втором этаже. Что-то ищут – что, не знаю; они и сами не знают, насколько я понимаю. Все может представлять интерес, сказал нагловатый юный полицейский, который сейчас роется в ящиках с нижним бельем и носками. Он пришел вместе с той, что была здесь вчера вечером; видимо, они полагают, что ее присутствие здесь и сегодня меня успокоит. На меня это действует ровно противоположным образом: я не желаю видеть ее больше никогда в жизни, но она тут как тут – на свежем поутру лице печальная мина, чтобы показать, как она сочувствует моему горю.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Любовь, доверие, вечность (англ.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/flod_helene/terapevt

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)